

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...»: источники и контексты\*

I

Одно из лучших стихотворений в русской поэзии, пушкинское «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», как известно, в значительной степени является плодом работы текстологов, реконструировавших его на основании черного автографа. Беловой рукописи этого стихотворения не существовало или она до нас не дошла, а черновая поставила перед исследователями несколько до сих пор не разрешенных вопросов, ответы на которые позволили бы прояснить не только творческую историю самого текста, но и некоторые особенности поэтики позднего Пушкина.

В сохранившемся автографе ПД № 241<sup>1</sup> ясно различаются три слоя. Нижний слой, первый по времени создания, это стихотворный фрагмент: он написан по большей части набело стремительным и размашистым почерком и закончен характерным пушкинским росчерком, графически обозначающим завершенность текста:

- 1 Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
- 2 Проходит быстро жизнь, и каждый день уносит
- 3 Надежду иль мечту а мы с тобой вдвоем
- 4 Предполагаем жить — — и глядь умрем
- 5 На свете счастья нет но есть покой и воля.
- 6 Давно мне грезится обещанная доля —
- 7 Давно, усталый раб, замыслил я побег
- 8 а. *Начато*: В обитель мирных
- б. В обитель мирную трудов, и чистых нег.

---

\* Некоторые положения этой работы были представлены в докладах, произнесенных на Вторых чтениях памяти Е. Г. Эткинда (Санкт-Петербург, 2002) и XI Тыняновских чтениях (Резекне (Латвия), 2004). Приношу искреннюю благодарность выступавшим в дискуссии коллегам, которые поделились со мной своими знаниями или критическими замечаниями: А. А. Долинину, А. К. Жолковскому, Е. О. Ларионовой, А. С. Немзеру, К. А. Осповату, К. Ю. Рогову, М. О. Чудаковой. Особая признательность — И. Ю. Светликовой, Б. А. Кацу, Г. А. Левинтону, В. Ляпунову и Н. Г. Охотину взявшим на себя труд прочитать рукопись статьи.

<sup>1</sup> ПД № 241 — автограф на отдельном листе, заполненном с одной стороны; его описание и перечень ранних публикаций см.: *Модзалевский Л. Б., Томашевский Б. В. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме: Научное описание. М.; Л., 1937. С. 93–94.*

Второй слой — это обширная неперебеленная правка, на основании которой реконструируется окончательный текст (здесь — жирным шрифтом):

- 1 **Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит —**
- 2 а. Бегут за днями дни, и каждый день уносит
- б. Летят за днями дни и каждый час уносит
- 3 а. Надежду старую а мы с тобой вдвоем
- б. Надежду мирную <?> а мы с тобой вдвоем
- в. Увядающую мечту а мы с тобой вдвоем
- г. **частичку бытия — а мы с тобой вдвоем**
- 4 а. Предполагаем жить — — и ско <нрзб.> умрем
- б. **Предполагаем жить — — и глядь — как раз умрем**
- 5 **На свете счастья нет но есть покой и воля.**
- 6 а. Давно мне грезится [з] возлюбленная доля
- б. Давно завидная мечтается <мне> доля
- 7 **Давно, усталый раб, замыслил я побег**
- 8 а. В обитель скромную [светлую] трудов, и чистых нег.
- б. **В обитель дальную трудов и чистых нег.**

Под стихотворением в центре листа стоит отточие, ниже убористым и аккуратным почерком написаны два абзаца прозаического текста; почерк во втором абзаце еще теснее и мельче, чем в первом:

Юность не имеет нужды в at home, зрелы<й>  
возраст ужасается своего уединения. Блажен кто  
находит подругу — тогда удались он домой.

О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню —  
поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические —  
семья, любовь etc. — религия, смерть.

Весь фрагмент написан набело, единственное исправление есть в последней фразе, где под словом «религия» прочитываются буквы «см»: по-видимому, Пушкин начал писать «смерть», но остановился и вписал перед ним «религия». Несколько слов в первом абзаце подчеркнуты. Конец текста и здесь выделен графически — длинной линией с отчеркиванием.

Впервые публикуя факсимиле и корректную транскрипцию ПД № 241, М. Л. Гофман не сомневался в том, что прозаический фрагмент является планом продолжения стихотворного, а значит, оба они должны рассматриваться как единый текст. «Подчеркнутые Пушкиным слова в первой приписке, да и самый стиль ее, — подытоживал он свои наблюдения, — как будто говорят о том, что Пушкин переводил ее с английского языка и подчеркивал те слова, которые он или не точно передал, или которые выражали его затаенные желания, совпадали с ними. Что касается до второй приписки (отличающейся от первой не

только стилем и характером, но и почерком), то она носит явно более автобиографический характер. Не исключается возможность, что стихотворение Пушкина внушено каким-нибудь английским образцом, но совершенно несомненно, что мысль и образы, заключенные в нем, настолько совпадали с затаенными грезами поэта в 1834–1836 гг., что пьеса приняла характер поэтической исповеди»<sup>2</sup>.

Из двух намеченных Гофманом направлений исследования — интертекстуального и биографического — большим вниманием ученых пользовалось второе. Принято считать, что в стихотворении «Пора, мой друг, пора!..» и в следующем за ним прозаическом фрагменте отразились усталость и отвращение к придворной и столичной жизни, охватившие поэта в середине 1830-х гг. и заставившие его всерьез задуматься об отставке и переезде из Петербурга в деревню. Свидетельства подобных настроений есть в пушкинских текстах и переписке осени 1833-го, весны 1834-го, лета 1835-го и, наконец, лета—осени 1836 г., соответственно, и разлет датировок стихотворения, основанных на биографических обстоятельствах, оказывается довольно широким<sup>3</sup>. Зато в вопросе об адресате разногласий нет: исследователи практически единодушно утверждают, что это стихотворение обращено к Н. Н. Пушкиной<sup>4</sup>, основываясь главным образом на том, что поэт неоднократно

---

<sup>2</sup> Неизданный Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина. Пг., 1922. С. 137. Уточненную транскрипцию см.: Акад. Т. 3. С. 330, 940, 1250; об одной ошибке Гофмана см.: *Бонди С. М.* О чтении рукописей Пушкина // *Бонди С. М.* Черновики Пушкина: Статьи 1930—1970 гг. М., 1978. С. 175—176.

<sup>3</sup> Осень 1833 г. в качестве даты создания ПД № 241 предложена в ст.: *Зуева Т. В.* Народная волшебная сказка в творческом развитии А. С. Пушкина // *Фольклорные традиции в русской и советской литературе: Сб. статей.* М., 1987. С. 51—87. Май—июнь 1834 г. — датировка Т. Г. Зенгер в академическом собрании (Акад. Т. 3. С. 1250), принятая без обсуждения большинством исследователей (позже Т. Г. Цявловская (Зенгер) сдвинула датировку на лето 1834 г., см.: *Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. М.: Гослитиздат, 1959. Т. 2. С. 738). М. Л. Гофман полагал, что автограф относится к 1834 г. или к лету—осени 1836 г. (Неизданный Пушкин... С. 138). Насколько нам известно, на лето 1835 г. в качестве возможной даты создания «Пора, мой друг, пора!..» первым указал Аркадий Гордин (см.: *Гордин А.* «Вновь я посетил тот уголок земли...»: (Пушкин в Михайловском в 1835 году) // *На берегах Великой: Альманах.* Кн. 2. Псков, 1949. С. 168). Важные аргументы в пользу этой гипотезы были выдвинуты в работах В. А. Сайтанова, о которых ниже.

<sup>4</sup> Традиция, восходящая еще к П. И. Бартеневу: именно он в 1886 г. впервые опубликовал стихотворение в «Русском архиве» со множеством неточностей и под произвольно присвоенным заглавием «К жене» (РА. 1886. Т. 3, № 9. С. 126; см. также: РА. 1887. Т. 1, № 1. С. 147). Иной точки зрения придерживался, кажется, только Александр Фейнберг, полагавший адресатом «Пора, мой друг, пора!..» П. В. Нащокина, см.: *Фейнберг А.* Заметки о «Медном всаднике». М., 1993. С. 57—61.

писал жене о своем желании уехать прочь из Петербурга. Внешний вектор бегства — из столицы в деревню — сопологают с направлением внутренних поисков Пушкина в середине 1830-х гг.: стремлением поэта к созданию Дома (Ю. М. Лотман<sup>5</sup>), к вневременной «гармонии инобытия» (Е. Н. Григорьева<sup>6</sup>), христианскому спасению (С. А. Кибальник, И. З. Сурат, отец Георгий Чистяков<sup>7</sup>), освобождению от страха смерти (М. Пророков<sup>8</sup>) и т. д.

Вопрос об интеллектуальном контексте и источниках «Пора мой друг, пора!..» и следующего за ним прозаического фрагмента изучен значительно меньше. Иноязычное вкрапление *at home* (англ. *дома*) направило основные поиски по английскому следу. Через полвека после того, как М. Л. Гофман выдвинул гипотезу о возможном «английском образце» пушкинского текста, В. А. Сайтанов предложил считать его источником эпиграмму Кольриджа «Надпись к хронометру» («*Inscription for a Time-piece*») из книги «*Table-talk*», купленной Пушкиным летом 1835 г.<sup>9</sup>:

Now! It is gone. — Our brief hours travel post  
Each with its Thought or Deed, its Why or How,  
But know, each parting hour gives up a host  
To dwell within thee — an eternal Now!<sup>10</sup>

Помимо общей темы стремительного бега времени Сайтанов усмотрел между текстами две словесных переключки: пушкинскую «частицу бытия» он возвел к английскому *time-piece* (хронометр, букв. «частица времени»), а варианты черновика «каждый час уносит / [Надежду

<sup>5</sup> Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя // Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 2003. С. 161–162.

<sup>6</sup> Григорьева Е. Н. Стихотворение А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит»: (К проблеме завершенности текста) // Концепция и смысл: Сб. статей в честь 60-летия проф. В. М. Марковича. СПб., 1996. С. 115–124.

<sup>7</sup> Кибальник С. А. Художественная философия Пушкина. СПб., 1998. С. 180; Сурат И. З. Пушкин: Биография и лирика. Проблемы. Разборы. Заметки. Отклики. М., 1999. С. 167–168; О. Георгий (Чистяков). «Язык обитателей Неба»: О природе молчания // Русская мысль. 1998. № 4241, 15 окт.

<sup>8</sup> Пророков М. «Пора, мой друг, пора...»: К проблеме лирической биографии. А. С. Пушкин: 1828–1835 // Волга. 1999. № 6. С. 17–28.

<sup>9</sup> Сайтанов В. А. 1) Пушкин и Кольридж // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1977. Т. 36, № 2. С. 153–164; 2) Неизвестный цикл Пушкина // Пути в незнаемое: Сб. очерков. М., 1986. С. 361–395.

<sup>10</sup> «Сейчас! Исчезло. — Наши краткие часы путешествуют на почтовых, / Каждый со своей Мыслью или Деянием, своим Почему или Как, / Но знай, что каждый прошедший час порождает призрак, / Который остается в тебе навсегда — вечное Сейчас!»

старую] [Увядшую мечту]» связал с образом часов, путешествующих «на почтовых, / Каждый со своей Мыслью или Деянием».

Кроме того, исследователь заметил, что строка «Давно, усталый раб, замыслил я побег» в автографе ПД № 241 написана набело, а в черновиках стихотворения «Странник» есть следы долгой работы над близкой формулой: «Как раб, замысливший отчаянный побег» (Акад. Т. 3. С. 981–982). Следовательно, «Пора, мой друг, пора!..» создавалось *после* «Странника», в автографе которого сам Пушкин проставил дату: «26 ию 835». Источником последнего стихотворения, как известно, была книга Джона Беньяна «Путь паломника»<sup>11</sup>, высоко оцененная Кольридом в “Table-talk”. Если принять предположение Сайтанова, что интерес Пушкина к Беньяну был спровоцирован книгой Кольрида, купленной им 17 июля 1835 г., то датировку «Странника» следует читать как 26 июля 1835 г. Соответственно, уточняется и верхняя хронологическая граница создания «Пора, мой друг, пора!..»: не ранее 26 июля 1835 г. Нижней хронологической границей Сайтанов назвал начало сентября 1835 г. — время состоявшегося «побега» Пушкина в Михайловское. Большинство исследователей согласилось с уточнением датировки, но отвергли переключку с «Надписью к хронометру»<sup>12</sup>.

Дальнейшими поисками английских источников занялся А. Ю. Кокотов, который увидел в пушкинском тексте тематическое родство и ряд точечных лексических переключек со стихотворениями Кольрида «Счастье» (1791) и «Преподобному Джорджу Кольриджу» (1797). Однако те же мотивы бегства от городской суеты и обретения покоя в деревне исследователь обнаружил также у Горация и Языкова, отчего и усомнился в возможности однозначно решить вопрос о литературном источнике пушкинского текста<sup>13</sup>.

Мария и Никита Струве предложили считать источником прозаического фрагмента ПД № 241 следующие строки из поэмы Томсона «Времена года»<sup>14</sup>:

---

<sup>11</sup> Общий биографический контекст стихотворений «Пора, мой друг, пора!..» и «Странник», а также текстуальные переключки между ними описаны в ст.: *Благой Д. Д.* Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой // ПИМ. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 61–64.

<sup>12</sup> См.: *Сурат И. З.* Пушкин: Биография и лирика. С. 167–168; *Долинин А. А.* Пушкин и Англия // Эткиндовские чтения. I: Сб. статей по материалам Чтений памяти Е. Г. Эткинды (27–29 июня 2000 г.). СПб., 2003. С. 85.

<sup>13</sup> См.: *Кокотов А. Ю.* Пушкин... Языков... Кольридж... (Заметки о межтекстовых связях) // Пушкин и духовная культура. Традиции и новаторство: Сб. статей. СПб., 1999. С. 86–94.

<sup>14</sup> См.: *Струве М., Струве Н.* Из русско-английских литературных связей. Пушкин и Томсон // Московский пушкинист. X: Ежегодный сб. М., 2002. С. 120–123.

Retirement, rural quiet, friendship, books,  
Ease and alternate labour, useful life,  
Progressive virtue and approving Heaven.<sup>15</sup>

Еще одну интересную параллель к пушкинскому тексту А. А. Долинин нашел в поэме Вордсворта «Прогулка»:

A choice that from the passions of the world  
Withdrew, and fixed me in a still retreat;  
Sheltered, but not to social duties lost,  
Secluded, but not buried; and with song  
Cheering my days, and with industrious thought;  
With the ever-welcome company of books;  
With virtuous friendship's soul-sustaining aid,  
And with the blessings of domestic love.<sup>16</sup>

Если к английским версиям мы присовокупим замечание Е. Г. Эткинда о том, что «усталый раб», вероятно, представляет собой цитату из Горация<sup>17</sup>, то на этом список предложенных на сегодняшний день

---

<sup>15</sup> «Уход от дел, деревенский покой, дружба, книги, / Чередование труда и отдыха, жизнь, проводимая с пользой, / Возрастающая добродетель и благосклонные небеса».

<sup>16</sup> «Решение удалиться от страстей мира, которое привело меня в спокойное убежище, где я защищен, но не потерял для общественного долга, уединен, но не погребен; где дни мои улаждает поэзия и неустанное раздумье, общество книг, которому я всегда рад, питающая душу помощь благодетельной дружбы и благословение семейственной любви» (*Долинин А. А.* Пушкин и Англия. С. 79. Пер. автора). Эта и другие переключки между поздней пушкинской лирикой и произведениями Вордсворта и Саути позволили А. А. Долинину убедительно показать идейную близость пушкинского текста к «жизненной философии» поэтов «озерной школы», однако исследовательская корректность заставила его воздержаться от возведения «Прогулки» в ранг непосредственного источника «Пора, мой друг, пора!..».

<sup>17</sup> *Эткинд Е. Г.* Божественный глагол: Пушкин, прочитанный в России и во Франции. М., 1999. С. 312. К сожалению, это брошенное мимоходом замечание, впервые опубликованное в 1988 г., осталось неразвитым. Исследователь мог иметь в виду известную сатиру Горация о свободе: хотя точного лексического эквивалента для выражения «усталый раб» в ней нет (этим мог обуславливаться предположительный характер указания Эткинда), соответствующие мотивы являются в этой сатире сюжетообразующими. Раб Дав во время Сатурналий решил воспользоваться древним правом сказать своему хозяину правду: страсти и пороки делают свободного человека в тысячу раз большим рабом («totiens servus» — Sat. II, 7, 70), чем его слуги: «eripe turpi / colla jugo; "liber, liber sum" dic age. Non quis; / urget enim dominus mentem non lenis et acris / subiectat lasso stimulos versatque negantem» («Выврись, попробуй, из этих оков на свободу! — Так что же / Ты говоришь: "Я свободен!" — Какая же это свобода! / Нет! над тобой есть такой господин, что, лишь чуть облениться, / Колет тебя острием; а отстанешь, так он погоняет!» (пер. М. А. Дмитриева). — Sat. II, 7, 91–94).

подтекстов пушкинского наброска будет исчерпан. Временно оставим в стороне вопрос об интертекстуальном статусе выявленных параллелей и обратимся к произведению, которое, на наш взгляд, является наиболее вероятным источником стихотворения «Пора, мой друг, пора!..». Речь идет об одном из самых известных моралистических трактатов позднего стоицизма — «Нравственных письмах к Луцилию» Луция Аннея Сенеки Младшего (ок. 4 до н. э.— 65 н. э.).

## II

В Новое время «*Ad Lucilium Epistulae morales*»<sup>18</sup> были популярны сразу в нескольких ипостасях: как стройное и доходчивое изложение стоической этики, как эталон «симбулевтического» (убеждающего) рода ораторской прозы и, наконец, как образец емкого и выразительного языка. Именно поэтому трактат Сенеки часто использовался для школьного изучения латыни: короткие фразы, отточенная риторика и ясная мораль позволяли разом достичь нескольких педагогических целей<sup>19</sup>. Пушкин познакомился с Сенекой еще в Лицее и впоследствии неоднократно упоминал его в ряду важнейших писателей древности<sup>20</sup>. В библиотеке поэта сохранилось полное собрание сочинений Сенеки с параллельным латинско-французским текстом, вышедшее в Париже

---

<sup>18</sup> Известно шесть основных рукописей «Писем» IX—XI вв.; из первых критических изданий два (1515 и 1529 гг.) были подготовлены самим Эразмом Роттердамским, за ними, уже в XVI—XVII вв., последовало множество уточняющих переизданий.

<sup>19</sup> Отрывками из писем и трактатов Сенеки изобиловали русские моралистические антологии и письмовники XVIII в. Ср.: Дух Сенеки, или Изрядные нравоучительные рассуждения сего великого философа. М., 1765; Лучи мудрости, или Нравоучительные и полезнейшие рассуждения Сенеки и Плутарха... М., 1765; Сенеки христианствующего нравственные лекарства... Выбраны из писем Л. А. Сенеки... М., 1783; Луция Аннея Сенеки О управлении мира, о божиим промысле и как многая злая блжим мужам случаются. СПб., 1786; *Богданович П. И.* Новый и полный письмовник. СПб., 1791, и т. д. Отрывки из «Писем» и подражания им регулярно появлялись в журналах начала XIX в., ср.: Друг просвещения. 1805. Ч. 1, № 2. С. 123—125; Друг юношества. 1814, март. С. 72—74; Журнал Департамента народного просвещения. 1822. Ч. 4, февр. С. 227—229; 1822. Ч. 5, авг. С. 478—491; 1823. Ч. 8, июль. С. 269—279, и т. д. В то же время в России этот текст долго не переводили целиком: избранные письма в переводе П. Краснова вышли только в 1893 г., а полный перевод С. А. Ошерова появился без малого веком позже (далее цитируется по изд.: *Сенека Л. А.* Нравственные письма к Луцилию. М., 1977).

<sup>20</sup> См.: *Якубович Д. П.* Античность в творчестве Пушкина // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. [Т.] 6. М.; Л., 1941. С. 93.

в 1832–1834 гг.<sup>21</sup>, однако есть и более ранние свидетельства пушкинского знакомства с «Письмами к Луцилию».

В трактат Сенеки входит более ста писем, значительная часть которых группируется в своеобразные микроциклы, связанные сквозными темами и мотивами. Стихотворение «Пора, мой друг, пора!..» коррелирует с циклом писем об устройении жизни мудреца (*sapiens*). В первом же письме этого цикла вводилась тема *покоя* (XIX, «*Quae sint quietis commoda*» — «Преимущества покоя»)²². Призывая Луцилия — человека известного, находящегося на пике своей гражданской карьеры, окруженного друзьями и клиентами, — оставить все и обратиться к поиску истинного смысла жизни, Сенека называет его нынешнее существование *рабством*²³. Только полностью освободившись от гнета обязанностей и живя на досуге, человек может обрести вожделенный покой²⁴:

---

<sup>21</sup> Oeuvres complètes de Sénèque le Philosophe / Trad. nouv. par MM. Ajasson de Grandsagne, Baillard, Charpentier, et al. Publ. par M. Charles du Rozoir. Paris, 1832–1834. Ср.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина: (Библиогр. описание). СПб., 1910. С. 164. № 631. Далее латинский и французский тексты «Писем» цитируются по парижскому изданию, и только отсутствующее в нем разделение на параграфы приведено в соответствии с современной традицией. В т. 5, где напечатаны «Письма к Луцилию», страницы не разрезаны. В т. 3 разрезаны страницы 265–288, о содержании которых следует сказать особо. Это издание было снабжено обширным комментарием, включавшим множество параллельных мест не только из самого Сенеки и других античных авторов, но и из европейских (главным образом французских и английских) писателей и поэтов нового времени. На стр. 265–288 находится последний (20-й) фрагмент трактата «*De brevitate vitae*» и полный комментарий к нему (книга разрезана явно не наугад). Интересно, что трактат «О скоротечности жизни» идеологически очень близок к цитируемому нами ниже циклу писем к Луцилию, поэтому и примечания к нему во многом перекрещиваются с комментарием к соответствующим письмам.

<sup>22</sup> В пушкинскую эпоху еще сохранялась традиция издавать письма с условными заглавиями, отражающими основную тему послания.

<sup>23</sup> Идея несвободы усилена броским образом натертой ярмом шеи, которую лучше бы один раз перерезали, чем всю жизнь давили. Ср. сходный пассаж в письме XXII (3): «*Nemo tam timidus est ut malit semper pendere, quam semel cadere*» («Даже самый робкий предпочел бы один раз упасть, нежели все время висеть»), процитированный также в «Опытах» Монтеня (кн. II, гл. 33). Аналогичная конструкция есть в притче Пугачева об орле и вороне в «Капитанской дочке»: «...чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью» (Акад. Т. 8. С. 353).

<sup>24</sup> Отметим, что для передачи идеи покоя Сенека использует несколько понятий: *otium* (досуг) и *quies* (покой) — без первого не может быть второго, а также *tranquillitas* (спокойствие). Двум из этих понятий Сенека посвятил специальные трактаты — «*De tranquillitate animi*» («О спокойствии души») и «*De otio*» («О досуге»). Вопрос о лексике *покоя* у Сенеки и о пушкинском употреблении слов данной семантики заслуживает отдельного исследования. Некоторые аспекты



(1) <...> Ita fac! oro atque obsecro <...> si potes, subduc te istis occupationibus; si minus eripe. Satis multum temporis sparsimus; incipiamus in senectute vasa colligere. (2) Numquid invidiosum est? in freto viximus, moriamur in portu. <...> (6) <...> In eam demissus es vitam, quae numquam tibi miseriarum terminum ac **servitutis** ipsa factura sit. Subduc cervicem iugo tritam: semel illam incidi, quam semper premi, satius est. (8) Cogita, quam multa temere pro pecunia, quam multa laboriose pro honore tentaveris: aliquid et pro **otio** audendum est, aut, in ista sollicitudine procuracionum et deinde urbanorum officiorum, senescendum in tumultu ac semper novis fluctibus quos effugere nulla modestia, nulla **vitae quiete** contingit. Quid enim ad rem pertinet, an tu **quiescere** velis? fortuna tua non vult,<sup>25</sup>

Сделай вот что, прошу тебя и заклинаю. <...> Если можешь — освободись от своих дел, если не можешь — вырвись силой. Мы растратили немало времени, так начнем же хоть в старости собираться в путь. (2) Чему тут завидовать? Мы прожили жизнь в открытом море, надо хоть умереть в гавани. <...> (6) <...> Ты дошел до такой жизни, которая сама по себе никогда не положит предела твоим несчастьям и **рабству**. Вынь натертую шею из ярма: пусть ее лучше однажды перережут, чем все время давят. (8) Подумай, как много стараний ты наудачу тратил ради денег, как много трудов — ради почестей; надо решиться на что-нибудь и ради **досуга**, или же тебе

---

этой темы затронуты в ст.: *Жолковский А. К.* «Превосходительный покой»: Об одном инвариантном мотиве Пушкина // *Жолковский А. К., Щеглов Ю. К.* Работы по поэтике выразительности: Инварианты — Тема — Приемы — Текст. М., 1996. С. 240–260.

<sup>25</sup> Oeuvres de Sénèque. Vol. 3. P. 116, 118, 120. Ср. французский перевод: «Continuez, je vous en prie, je vous en conjure... Dérobez-vous, si vous le pouvez, à vos occupations; sinon, il faut vous y arracher. Voilà bien assez de temps de perdu: mettons-nous, sur notre déclin, à en rassembler les débris. Quel mal peut-on y trouver? nous avons vécu en pleine mer; nous voulons mourir au port. <...> La vie où vous êtes jeté, jamais ne vous présentera d'elle-même le terme de votre servitude et de vos misères. Dérobez votre tête au joug qui l'écrase; mieux vaut qu'elle tombe une fois, que de plier sans cesse. <...> Songez à tous les périls que vous avez bravés pour de l'argent, aux fatigues que vous avez soutenues pour des honneurs: il faut bien aussi oser quelque chose pour le repos; ou bien, condamné aux embarras de quelque gouvernement, et ensuite des magistratures urbaines, se résoudre à vieillir parmi le fracas des affaires et des orages sans cesse renaissants, que ni la modération, ni l'amour de repos ne peuvent faire éviter. Eh! qu'importe que vous vouliez vous reposer? Votre fortune ne le veut pas» (Ibid. P. 117, 119, 121).

Пушкин, вероятно, читал параллельное издание Сенеки «справа налево»: т. е. вначале прочитывал французский перевод — точный, но многословный и совершенно бесцветный, а затем переходил к латинскому подлиннику. Перевод *Ощерова* стилистически очень близок к оригиналу, тем более интересны его совпадения (скорее всего, бессознательные) с пушкинским текстом.

придется состариться среди тревог прокураторской, а потом и городских должностей, среди суеты и все новых волн, от которых не спасут тебя ни скромность, ни *спокойная жизнь*. Какая важность, хочешь ли ты *покоя*? Твоя фортуна не хочет!

Идея жизни как добровольного рабства вновь возникает в письме XXII<sup>26</sup>, где мы находим пушкинские формулу «замысливший побег» и образ мгновенно ускользящих «частиц жизни»:

(5) ...Epicuri epistolam ad hanc rem pertinentem lege, Idomeneo quae scribitur; quem rogat ut “**quantum potest, fugiat et properet, antequam aliqua vis major interveniat, et auferat libertatem recedendi.**” (6) Dormitare **de fuga cogitantem** vetat et sperat salutarem etiam ex difficillimis exitum, si nec properemus ante tempus, nec cessemus in tempore. (11) Ita est, Lucili: paucos **servitus**, plures **servitum** tenent. (17) Non enim apud nos **pars ejus ulla subsedit; transmissa est, et effluxit.**<sup>27</sup>

(5) Прочти относящееся к нашему делу письмо Эпикура, обращенное к Идоменею, которого он просит, насколько возможно, **поспешить с бегством**, пока не вмешалась высшая сила и не отняла возможности уйти. (6) **Замыслившему побег** он запрещает дремать и надеется, что из самого трудного положения есть спасительный выход, если не спешить прежде времени и не мешкать, когда время настанет. (11) Да, это так, Луцилий: немногих удерживает **рабство**, большинство за свое **рабство** держится. (17) Ни одна ее <жизни> **частица** не остается нашей: минула — **унеслась** прочь.

В письме XXIII Сенека возвращается к мысли о мимолетности и тщете надежд и случайных радостей, которые увлекают людей в неуправляемый поток жизни и мешают им достичь истинного блага. В завер-

<sup>26</sup> Обобщенное толкование понятия «раб» дано в другом месте «Писем»: «“Servus est”. <...> Ostende quis non sit: alius libidini servit, alius avaritiae, alius ambitioni, omnes timori» («“Он раб”. <...> Покажи мне, кто не раб. Один в рабстве у похоти, другой — у скупости, третий — у честолюбия и все — у страха». — XLVII, 17).

<sup>27</sup> Ibid. P. 140, 142, 146. Интересно отметить расхождение с оригиналом в русском переводе: «de fuga cogitantem» (замысляющему побег) Ошеров переводит причастием совершенного вида — «замыслившему побег», в точности воспроизводя пушкинскую формулу (отмечено И. Ю. Светликовой). Ср.: «J’ai lu une lettre d’Épicure a Idoménee, relative à notre sujet. Il lui recommande “de fuir à la hâte et de toutes ses forces, avant qu’une puissance supérieure intervienne, et lui ôte la liberté de faire retraite”. <...> Il défend de dormir, quand il faut songer à la fuite; et, du pas le plus difficile, il promet une sortie heureuse à qui sait ne pas devancer l’occasion, mais aussi ne pas la manquer. <...> Oui, Lucilius, s’il en est que l’esclavage tient, il en est plus encore qui tiennent à l’esclavage. <...> Rien ne s’en est arrêté dans notre âme; tout a passé au travers, tout s’est écoulé goutte à goutte» (Ibid. P. 141, 143, 147).

шение он цитирует мысль Эпикура — «*Molestem est semper vitam inchoare*» («Тяжко всегда начинать жизнь сначала») — и поясняет ее: «*Male vivunt qui semper vivere incipient. <...> non potest autem stare paratus ad mortem, qui modo incipit vivere. <...> quidam ante vivere desierunt, quam inciperent*» («Плохо живут те, кто всегда начинают жизнь сначала. <...> Не может быть готов к смерти тот, кто едва начал жить. <...> некоторые кончают жить, так и не начав» — XXIII, 9–11)<sup>28</sup>.

В письме XXIV (19–20) мы вновь находим «частицу жизни», на этот раз в конструкции, очень похожей на пушкинскую строку «Каждый день уносит частицу бытия»: «*non repente nos in mortem incidere, sed minutatim procedere. Quotidie morimur; quotidie enim demitur aliqua pars vitae: et tunc quoque, quum crescimus, vita decrescit*» («Мы не сразу попадаем в руки смерти, а постепенно, шаг за шагом. Каждый день мы умираем, потому что **каждый день отнимает у нас частицу жизни**, и даже когда мы растем, наша жизнь убывает») <sup>29</sup>. Еще ближе к пушкинскому тексту французский перевод: «*chaque jour nous enlève une partie de notre existence*» («каждый день уносит от нас частицу нашего бытия») <sup>30</sup>.

Эти же мотивы повторяются в XXVI письме, где рядом с ними появляется напоминание о том, что человеку не дано знать час своей смерти — и молодых и старых она может настигнуть в любой момент:

---

<sup>28</sup> Ibid. P. 152–154.

<sup>29</sup> Ibid. P. 164.

<sup>30</sup> Ibid. P. 165. Мотив скоротечности жизни, измеряемой в дискретных единицах времени, бег которых невозможно уследить и сдержать, — один из излюбленных у Сенеки. Ср. в трактате «*De brevitate vitae*» (VI, 4, VIII, 5 и X, 6): «*Nos vero spatium, quod quamvis natura currit ratio dilatat, cito vos effugiat necesse est; non enim apprenditis nec retinetis vel ocissimae omnium rei moram facitis, sed abire ut rem supervacuam ac reparabilem sinitis*» («Отведенный нам срок природа сделала скоротечным, но разум его удлинняет; у вас же он просто не может не пролететь мгновенно: вы не стараетесь сохранить его, удержать, замедлить стремительный бег времени — вы позволяете ему проходить, словно у вас его в избытке и вам нетрудно восстановить утраченное»); «*Ibit qua coepit aetas nec cursum suum aut revocabit aut supprimit; nihil tumultuabitur, nihil admonebit velocitatis suae: tacita labetur*» («Время твоей жизни, однажды начав свой бег, пойдет вперед, не останавливаясь и не возвращаясь вспять. Оно движется беззвучно, ничем не выдавая быстроты своего бега: молча скользит мимо»); «*Praesens tempus brevissimum est, adeo quidem ut quibusdam nullum videatur; in cursu enim semper est, fluit et praecipitatur; ante desinit esse quam venit, nec magis moram patitur quam mundus aut sidera, quorum irrequieta semper agitatio numquam in eodem vestigio manet*» («Настоящее время — кратчайший миг, до того краткий, что некоторые вовсе не признают за ним существования. Оно всегда течет, движется вперед с головокружительной быстротой; проходит, не успев наступить и так же не терпит остановки, как мир и его светила, не знающие покоя в своем круговращении и никогда не остающиеся на одном месте») (здесь и далее пер. Т. Ю. Бородай; см.: *Сенека Л. А. Философские трактаты*. СПб., 2000. С. 47, 49–50, 52).

сравним с пушкинским «а мы с тобой вдвоем / Предполагаем жить — и глядь — как раз умрем» (интересно, что в этой фразе Пушкин применил один из любимых риторических приемов Сенеки — метаболу, или внезапную перемену тона):

(4) Non enim subito impulsus ac prostratus sumus; carpinur: **singuli dies aliquid subtrahunt viribus.** (7) Juvenior es? quid refert? non dinumerantur anni. Incertum est quo loco te mors exspectet; itaque tu illum omni loco exspecta.<sup>31</sup>

(4) Ведь не одним ударом валит нас наземь, нет, **каждый день отнимает что-нибудь и уносит частицу наших сил.** (7) Ты моложе меня — что с того? Ведь не по годам счет! Неизвестно, где тебя ожидает смерть, так что лучше сам ожидай ее везде.

В письме XXVII Сенека возвращается к теме беспокойных и нечистых наслаждений и противопоставляет им неизменную радость труда и добродетельной жизни; вспомним пушкинские «труды и чистые неги».

(2) Dimitte istas **voluptates, turbidas**, magno luendas! non venturae tantum, sed praeteritae nocent. (3) Sola virtus praestat gaudium perpetuum, securum: si quid obstat, nubium modo intervenit, quae infra feruntur nec unquam diem vincunt. (4) Quando ad hoc gaudium pervenire continget? Non quidem cessatur adhuc: sed festinatur. Multum restat **operis**, in quod ipse necesse est vigiliam, ipse **laborem** tuum impendas, si effici cupis.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Oeuvres de Sénèque. Vol. 3: P. 174. Cp.: «...nous ne sommes pas terrassés, anéantis d'un seul coup: minés insensiblement, nous voyons nos forces décroître chaque jour. <...> Vous êtes plus jeune! Eh qu'importe? La mort vous atteindra toujours» (Ibid. P. 175).

<sup>32</sup> Ibid. P. 178, 180. Cp.: «...arrache-toi à ces plaisirs orageux qui coûtent si cher, aussi funestes après qu'avant la jouissance. <...> La vertu seule procure un bonheur perpétuel et inaltérable. Les obstacles qu'elle peut rencontrer ne sont que de légers nuages qui passent au dessous d'elle, sans en éclipser la splendeur. Quand seras-tu appelé à jouir de cette félicité? Loin de discontinuer à la chercher, tu te hâtes pour y atteindre. Que d'ouvrage il te reste à faire! Que de veilles et de travaux pour atteindre ce but!» (Ibid. P. 179). Cp. этот же круг идей в трактате «De brevitate vitae» (XIX, 1–2): «Recipe te ad haec tranquilliora, tutiora, maiora! <...> Vis tu relicto solo mente ad ista respicere! Nunc, dum calet sanguis, vigentibus ad meliora eundum est. Exspectat te in hoc genere vitae multum bonarum artium, amor virtutum atque usus, cupiditatum oblivio, vivendi ac moriendi scientia, alta rerum quies» («Скорее бросай это и уходи к делам спокойным, безопасным, великим! <...> Разве тебе не хочется оставить землю и устремить свой духовный взор туда, ввысь? Именно теперь, пока не остыла кровь, не иссякли силы, надо отправляться на поиски лучшего! Я предлагаю тебе такой род жизни, где тебя ожидают многочисленные благородные искусства, любовь к добродетели и практическое ее применение, забвение вождений, познание жизни и смерти, глубокий покой» (Сенека Л. А. Философские трактаты. С. 64)).

(2) Откажись от **беспокойных наслаждений**, за которые приходится платить так дорого: ведь все они вредны, не только будущие, но и минувшие. (3) Одна лишь добродетель дает нам радость долговечную и надежную... (4) Когда же удастся достигнуть эту радость? И раньше в этом деле не мешкали, но нужно еще послешить. Сделать остается так много, что непременно нужны твое усердие и твои **труды**, если хочешь чего-нибудь добиться.

В письме XXX снова заходит разговор о постоянной близости смерти; Сенека убеждает Луцилия, что бояться смерти бессмысленно, ибо она подстерегает нас в любом месте и в любую минуту: «Non morte timemus, sed cogitationem mortis; ab ipsa enim semper tantundem absumus» («Мы боимся не смерти, а мыслей о смерти — ведь от самой смерти мы всегда в двух шагах»).

Письмо XXXII подхватывает и связывает воедино темы предшествующих писем: краткость человеческого существования, опасные надежды начать жизнь сначала, раздробленность бытия на частицы, необходимость бежать от сует, чтобы обрести покой и главную награду мудро — избавление от страхов и желаний.

(3) Multum autem nocet etiam qui moratur; utique in tanta brevitate vitae, quam breviorum inconstantia facimus, aliud ejus subinde atque aliud facientes initium. Diducimus illam in **particulas** ac lancinamus. Propera ergo, Lucili carissime, et cogita, quantum additurus celeritati fueris, si a tergo hostis instaret, si equitem adventare suspicareris ac **fugientium** premere vestigia. Fit hoc; premeris: **accelera, et evade!** perduc te **in tutum**; et subinde considera, quam pulchra res sit consummare vitam ante mortem, deinde exspectare securum reliquam temporis sui partem, inniti sibi; in possessione beatæ vitæ positum, quæ beatior non fit, si longior. (4) O quando videbis illud tempus, quo scies tempus ad te non pertinere! quo tranquillus placidusque eris, et crastini negligens, et in summa tui satietate!<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Oeuvres de Sénèque. Vol. 3. P. 212. Cp.: «Or, les obstacles seuls sont bien nuisibles; la vie est si courte! et notre inconstance l'abrège encore; nous la commençons et la recommençons sans cesse. On la morcelle, on la hache pour ainsi dire. Hâtez-vous donc, mon cher Lucilius; avec quelle rapidité ne fuiries-vous pas, dites-moi, si l'ennemi vous poursuivait, si vous entendiez le vainqueur s'élançer au grand galop sur vos traces! Eh bien, vous êtes poursuivi; courez, fuyez. Arrivé en lieu de sûreté, songez combien il est beau, avant de mourir, de consommer la vie, d'attendre la fin de ses jours, comptant sur soi-même, et en possession d'une existence heureuse, qui le serait moins si elle était plus prolongée. O quand viendra le jour où vous saurez que le temps n'est plus à vous; où, tranquille et paisible, indifférent sur le lendemain, vous vivrez plein et rassasié de vous-même!» (Ibid. P. 213).

(3) Ведь и тот, из-за кого мы мешкаем, немало вредит нам; тем более что жизнь наша коротка и сами мы еще больше сокращаем ее своим непостоянством, каждый раз начиная жить заново. Мы дробим ее на **мелкие части** и рвем в клочки. Спешу же, дорогой мой Луцилий, подумай, как бы ты ускорил шаг, если бы по пятам за тобою шли враги, если бы ты опасался, что вот-вот появится конный и пустится вдогонку **убегающим**. Так оно и есть: погоня настигает, **беги быстрее**, укройся в надежном месте! А покуда подумай, как хорошо пройти весь путь жизни раньше смертного часа, а потом безмятежно ждать, пока минует остаток дней, ничего для себя не желая, ибо ты достиг блаженства и жизнь твоя не станет блаженнее, если продлится еще.

(4) Наступит, наконец, время, когда ты будешь знать, что до времени тебе нет дела, когда ты станешь **спокойным и безмятежным** и, сытый собою по горло, не будешь думать о завтрашнем дне!

Последнее из писем этого микроцикла (XXXVI) содержит противопоставление *покоя и счастья*<sup>34</sup>:

(1) Amicum tuum hortare, ut istos magno animo contemnat qui illum objurgant quod umbram et **otium** petierit, quod dignitatem suam destituerit et <...> praetulerit **quietem** omnibus. <...> **Res est inquieta felicitas**; ipsa se exagitat, movet cerebrum, non uno genere. Alios in aliud irritat; hos in potentiam, illos in luxuriam: hos inflat, illos mollit, et totos resolvit.<sup>35</sup>

(1) Ободри своего друга, чтобы он всем своим благородным сердцем презирал хулящих его за то, что он избрал безвестность и досуг, что отказался от почетной должности и <...> предпочел всему **покой**. <...> **Счастье — вещь беспокойная**: оно само по себе не дает ни отдыха, ни срока и на множество ладов тревожит наш ум. Каждого оно заставляет за чем-нибудь гнаться: одних за властью, других за роскошью, первых делая спесивыми, вторых — изнеженными, но губя и тех и этих.

Обнаруженные лексические и мотивные переключки свидетельствуют о возможной интертекстуальной зависимости «Пора, мой друг,

---

<sup>34</sup> Замкнутость данного микроцикла обозначена на уровне заглавий: ср. заглавие открывающего цикл письма XIX — «Quae sint quietis commoda» («Преимущества покоя») — и закрывающего письма XXXVI — «Quam sit commoda quies: de votis vulgi: de contemnenda morte» («Преимущества покоя; о желаниях толпы; о презрении к смерти»).

<sup>35</sup> Ibid. P. 226. Ср.: «Engagez votre ami à mépriser hardiment le reproche qu'on lui fait d'avoir cherché le repos et la solitude, d'avoir abdiqué sa dignité, d'avoir préféré la retraite aux avantages qu'il pouvait attendre. <...> La prospérité est inquiète, sans cesse elle se travaille, se tourmente l'esprit, et de plus d'une manière; elle souffle à chacun sa folie: à celui-là, l'ambition; à celui-ci, le goût des plaisirs; elle gonfle les uns, amollit et énerve entièrement les autres» (Ibid. P. 227).

пора!..» от «Писем к Луцилию». Избегая прямого следования образцу, Пушкин свободно комбинирует отдельные элементы текста-источника и создает своего рода «диффузную цитату»<sup>36</sup>. Помимо лексических и тематических соответствий, в пушкинском стихотворении есть и другие возможные рефлексии античного субстрата. Так, распространенный способ изложения философского поучения в форме дружеского письма, одним из лучших образцов которого считались «Письма к Луцилию», мог определить жанровые характеристики пушкинского текста, а краткий «рубленный» стиль, которым славился Сенека Младший, мог отразиться в его лаконичном синтаксисе. В стихах Пушкина есть и та особая интонация, которая так подкупает в «Письмах»: наставляя в науке жить, их автор никогда не показывает младшему собеседнику и толики превосходства, а говоря о человеческих ошибках, отнюдь не исключает себя из числа заблуждающихся.

Все это заставляет поставить под сомнение узко биографическую интерпретацию «Пора, мой друг, пора!..» как «затаенной грезы» Пушкина о переезде в деревню. Автор писем к Луцилию не уставал напоминать о том, что человеку не скрыться от самого себя, ибо его пороки последуют за ним повсюду (ср. пушкинский набросок 1836 г.: «Напрасно я бегу к Сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам...» — Акад. Т. 3. С. 419). «Побег» у Сенеки означает прежде всего душевное освобождение, а обретаемая лучшая доля — это не возможность жить «на покое» в деревне, а безмятежность мудреца, которому нечего бояться и нечего желать.

Отразившаяся в пушкинском стихотворном наброске «наука жить и умирать» («vivendi ac moriendi scientia» — Sen. De brev. vit., XIX, 2) позднего стоицизма<sup>37</sup> плохо согласуется с той программой счастливой

---

<sup>36</sup> О «диффузной цитате» см.: Мазур Н. Н. «Недоносок» Баратынского // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сб. к 70-летию В. В. Иванова. М., 1999. С. 144–145. Ср. наблюдения М. Л. Гаспарова о «конспективном» характере другого пушкинского перевода (Гаспаров М. Л. «Из Ксенофана Колофонского» Пушкина: Поэтика перевода // Гаспаров М. Л. Избр. труды. М., 1997. Т. 2. С. 88–99).

<sup>37</sup> Здесь и далее, говоря о стоическом мировоззрении, мы будем использовать «условное, но чрезвычайно плодотворное разделение понятий “Стоя” и “стоицизм”, где под Стоей понимается определенная хронологическими и дисциплинарными рамками философская школа, а под стоицизмом — характерное умонастроение без четко определенных границ, но с легко узнаваемым ядром, своеобразную духовную терапию и “религию кризисов” (А. А. Столяр), философскую пропедевтику, обучающую ориентироваться в повседневных ситуациях» (Бородай Т. Ю. Луций Анней Сенека. Диалоги «О скоротечности жизни». «О блаженной жизни» // Историко-философский ежегодник '96. М., 1997. С. 16).

жизни, которая развернута в записанном на этом же листе (ПД № 241) прозаическом отрывке. Так мы возвращаемся к до сих пор не решенному вопросу о том, каков же характер связи между двумя фрагментами пушкинского автографа<sup>38</sup>: действительно ли прозаический отрывок является *планом продолжения* стихотворения «Пора, мой друг, пора!..» или же перед нами два самостоятельных текста — не до конца обработанное, но совершенно цельное и завершенное с концептуальной точки зрения стихотворение и конспект какого-то другого произведения, носящего оригинальный или подражательный характер. Чтобы дать сколько-нибудь основательный ответ на этот вопрос, нужно прежде всего проверить, не существует ли такого идеологического контекста или литературного источника, который мог бы отменить или объяснить обнаружившееся противоречие между двумя фрагментами пушкинского текста.

### III

Поиск значимых интеллектуальных контекстов удобнее всего вести, отталкиваясь от опорных концептов исследуемого текста. Пушкинское противопоставление *счастья — покою и воле* отсылает нас к одному из главных вопросов этической философии: вопросу о природе человеческого счастья. Попробуем кратко и с неизбежными при беглом изложении упрощениями очертить смысловое поле этой проблемы.

В трактате о досуге Сенека писал, что существует три жизненных философии, равно претендующих на звание лучшей: одна делает смыслом человеческой жизни удовольствие, вторая — размышление, а третья — действие (De otio, VII, 1). Две из этих трех школ включали идею атараксии (греч. *ataraxia* — душевное спокойствие, безмятежность) в свое учение об эвдемонии (греч. *eudaimonia* — блаженство)<sup>39</sup>. Эпи-

---

<sup>38</sup> Существующая эдиционная практика, вырывающая не предназначенные для печати или неоконченные стихотворные тексты Пушкина из их прозаического контекста (письма, дневника, черновика и т. д.), по умолчанию придает стихотворению «Пора, мой друг, пора!..» самодостаточный статус, который не могут поколебать оговорки комментаторов. В исследовательской традиции, наоборот, присутствует устойчивая тенденция рассматривать стихотворный и прозаический фрагменты автографа ПД № 241 как творческое единство. Небезуспешную попытку доказать законченность и автономность стихотворного фрагмента исходя из анализа его внутренней семантической структуры предприняла не так давно Е. Н. Григорьева (см. ее статью: Стихотворение А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит»: (К проблеме завершенности текста)), что, однако, не отменяет необходимости рассмотреть проблему и в интертекстуальном аспекте.

<sup>39</sup> Обзор античных учений об эвдемонии см.: *Annas J. The Morality of Happiness. New York, 1993; Nussbaum M. The Therapy of Desire. Princeton, 1994.*



курейцы полагали, что счастье заключается в отсутствии страданий и удовлетворении естественных желаний: если человек не испытывает боли и обладает тем, чем он хотел бы обладать, то он достигает состояния спокойного довольства, которое и является счастьем (ср. «Письмо о счастье к Меникею» Эпикура, § 128). Третьим элементом, дополняющим пару *счастье—покой*, в эпикурейском учении выступала добродетель, поскольку ничто так не вредит счастливому покою, как угрызения совести и неумение управлять своими желаниями.

Стоицизм прямо отождествлял счастье и добродетель, полагая душевный покой необходимым условием счастья: атараксия освобождала стоического мудреца от страхов, надежд и желаний и позволяла ему полностью предаться размышлению. Как и эпикурейцы, стоики распространяли принцип покоя и на социальную сторону человеческой жизни и предписывали мудрецу удалиться от общества и отказаться от стремления к внешним благам — богатству, власти и славе<sup>40</sup>. (Стоическое соотношение *покоя* и *счастья* впоследствии отразилось в христианской морали, принявшей идею тождественности счастья и добродетели и обещавшей праведнику в качестве главной награды радостный покой; однако для христианина истинный и непреходящий покой был заключен в Господе)<sup>41</sup>.

Эти контексты, в большей или меньшей степени несомненно известные Пушкину, пока что ничего не добавляют к пониманию исследуемого нами текста, помимо уже установленной связи стихотворения «Пора, мой друг, пора!..» со стоицизмом. Однако если мы возьмемся проследить дальнейшую судьбу связанных концептов *счастье—покой*, то обнаружим их небезынтересную трансформацию в философии счастья XVIII в.<sup>42</sup> Хотя рассуждения о счастье в век Просвещения не отличались особенной концептуальной оригинальностью и эксплуатировали более или менее стандартный набор классических идей, совер-

---

<sup>40</sup> Упомянутая Сенекой третья философия — философия «действия», восходящая к Платону («Государство») и Аристотелю («Никомахова этика»), в отличие от первых двух школ, не считала покой неизменным условием счастья. Наряду с внутренним благом — довольством собой, Платон и Аристотель включали в число составляющих счастья и внешние блага (в том числе богатство и уважение сограждан), и «активную добродетель» — возможность применять в действии добрые начала души.

<sup>41</sup> Об идее счастья в Средние века см.: *Buschinger D. L'Idée du Bonheur au Moyen Age. Kümmerle, 1990.*

<sup>42</sup> О «философии счастья» XVIII в. прежде всего см.: *Mauzi R. L'idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIII siècle. Paris, 1960; Rosso C. Moralisti del «bonheur». Torino, 1954; Ehrard J. L'idée de nature en France dans la première moitié du XVIII-e siècle/ Paris, 1994. P. 541–606.* Рецензии этой философии в России посвящен ряд статей в сб.: XVIII век: Искусство жить и жизнь искусства. М., 2004.

шенно новым оказался сам подход к проблеме. Одной из доминант, определивших целостность того феномена, который мы называем мировоззрением XVIII столетия, была вера в принципиальную возможность индивидуального счастья, необходимым и достаточным условием которого была бы правильная организация душевной и социальной жизни человека. В «век разума» категория счастья перешла из разряда умозрительных проблем в разряд самых насущных вопросов повседневности, а обсуждение различных «технологий» достижения и поддержания счастья начало вызывать еще больший интерес, чем вопрос о природе этого феномена. Стремительно выросло значение индивидуального опыта: счастье перестало быть предметом обсуждения исключительно профессиональных философов. Род популярного философствования, соединивший в себе элементы этики, психологии и «житейской мудрости», оказался едва ли не влиятельнее собственно философских доктрин, а рефлексы «науки жить» XVIII в. распространились далеко за пределы этой эпохи<sup>43</sup>. Эта тенденция не обошла стороной и Россию: многочисленные западные образцы философии счастья были известны здесь и в подлинниках, и в переводах, и в переложениях<sup>44</sup>; что же касается оригинальных произведений, трактующих эту проблему, то здесь пальма первенства по праву принадлежала философской поэзии.

Взявшись обобщить разнообразные концепции счастья, итальянский философ Пьетро Верри в 1765 г. так резюмировал свои наблюдения: «Большинство человечества полагает счастье в здоровье тела и спокойствии души»<sup>45</sup>. Действительно, концепт покоя, разработанный еще эпикурейцами и стоиками, занял центральное место в значительной

---

<sup>43</sup> Достаточно напомнить о непреходящей популярности «Афоризмов житейской мудрости» («Aphorismen zur Lebensweisheit», 1851) Шопенгауэра — книги, которая в значительной степени была построена на опыте философии счастья XVIII в.

<sup>44</sup> Хорошо известно, что особую роль в переводе и распространении моралистических трактатов сыграли масоны; целый ряд изданий, описанных Г. В. Вернадским в кн. «Русское масонство в царствование Екатерины II» (СПб., 1999), прямо касается вопроса о соотношении счастья и покоя; ср.: Гофман И.-А. О спокойствии и удовольствии человеческом. СПб., 1762–1763 (переизд.: СПб., 1770; М., 1780; М., 1796); Начертание благоденственной жизни, состоящее в размышлении Шпалдинга об определении человека, в мыслях Дю Мулина о спокойствии духа и удовольствии сердца... СПб., 1774 (переизд.: СПб., 1780); Цветы любомудрия, или Философические рассуждения о том, что нет спокойствия злым, каков есть человек в естественном состоянии, и о жизни, смерти и бессмертии человека. СПб., 1778 (переизд.: СПб., 1784). Среди изданий начала XIX в. особенно отметим: Ломбез А. О внутреннем мире. СПб., 1816 (пер. А. Ф. Лабзина).

<sup>45</sup> Verri P. Meditazioni sulla felicità. Milano, 1765. P. 10.

части концепций счастья XVIII в.: через его посредство определяли и природу счастья, и основные пути его достижения. Истинное счастье (*vérai bonheur, true happiness*), в отличие от переменчивого счастья=фортуны, неизменно; чтобы достичь его, человек должен избегать излишней деятельности и чрезмерной пассивности, экзальтации страстей и летаргического безразличия, а также преисполниться чувством самодостаточности и внутреннего равновесия. Это состояние — единственное, позволяющее постоянно наслаждаться метафизической полнотой бытия, — и называлось *душевым покоем*<sup>46</sup>.

«Я стремглав пускался вослед иллюзиям и убегал от истинного счастья, а оно заключается в молчании страстей, в равновесии и покое душевном», — проповедовал Мармонтель<sup>47</sup>; «Я повторяю, что счастье есть не что иное, как душевный покой», — провозглашал Фридрих Великий<sup>48</sup>; «Счастье есть спокойствие духа и здоровье тела», — утверждал маркиз д'Аржан<sup>49</sup>. Сходные примеры можно умножать до бесконечности: великие государственные мужи и безвестные любители сельского уединения, цинические честолюбцы и смиренные светские проповедницы, авторы фривольных романов и создатели философских од, — все они на разные лады прославляли идею счастливого покоя. Венчало традицию определение счастья в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера (статья «*Bonheur*»): «Совершеннейшее счастье, доступное нам в этой жизни, есть не что иное, как состояние покоя, изредка перемежаемое украшающими его радостями».

Большинство концепций счастья XVIII в. носило синтетический (если не сказать прямо «компилятивный») характер, сочетая элементы разных доктрин, иногда прямо полемических по отношению друг к другу. Хуже всего обстояло дело с различием эпикурейского и стоического мировоззрения: даже такие столпы стоицизма, как Катон Утический и Регул, подчас оказывались записанными в эпикурейцы<sup>50</sup>. Если у эпикурейцев и стоиков один из элементов триады *счастье*—

---

<sup>46</sup> См. главу IX «*L'immobilité de la vie heureuse*» в кн.: *Mauzi R. L'idée du bonheur...* P. 330–385.

<sup>47</sup> *Marmontel J.-F. Contes moraux...* La Haye, 1777. Т. 2. P. 35.

<sup>48</sup> *Frédéric II le Grand, roi de Prusse. Essai sur l'amour-propre envisagé comme principe de morale...* Berlin, 1770. P. 25.

<sup>49</sup> *De Boyer J.-B., marquis d'Argens. La Philosophie du bon sens, ou Réflexions philosophiques sur l'incertitude des connaissances humaines...* La Haye, 1755. Réflexion 7, § 10. Ср. определение счастья у Ладвоката: «la santé du corps et la tranquillité de l'esprit» (*Ladvozat L.-F. Entretiens sur un nouveau système de morale et de physique, ou la Recherche de la vie heureuse selon les lumières naturelles.* Paris, 1721. P. 57).

<sup>50</sup> Ср.: *Mauzi R. L'idée du bonheur...* P. 627–628, 639; *Ehrard J. L'idée de nature...* P. 573–574.

*покой—добродетель* всегда занимал подчиненное место по отношению к двум другим, то в мировоззрении XVIII в. эта иерархия чаще всего оказывалась нивелированной, поскольку всем ее составляющим присваивалась равная этическая ценность. Ср.:

«Тот в сей жизни лишь блажен, кто малым доволен, / В тишине знает прожить, от суетных волн / Мыслей, что мучат других, и топчет надежду / Стезю добродетели к концу неизбежно» (А. Д. Кантемир. Сатира VI. «О истинном блаженстве», 1738); «Источник истинна покою / И спутник к счастью жизни сей» (А. А. Ржевский. «Ода добродетели», 1761); «Блажен, воспел я, кто доволен / В сем свете жребием своим, / Обилен, здрав, покоен, волн / И счастлив лишь собой самим; / Кто сердце чисто, совесть праву / И твердый нрав хранит в свой век / И всю свою в том ставит славу, / Что он лишь добрый человек» (Г. Р. Державин. «Видение мурзы», 1784); «Познай, о человек! / Что совесть чистая, свобода, / Здоровье и насущный хлеб / Довлеют к твоему покою. / Будь с ними счастлив сам собою / И дар благослови судеб!» (В. В. Капнист. «На счастье», 1792); «Пойдем дорогою прямою, / Она к душевному покою / Ведет блаженства под покров» (А. Х. Востоков. «Зима», 1799); «Мудрец с улыбкою взирает / На титул славы звук пустой, / Честям, всему предпочитает / Он сердца и души покой! / Он видит счастье, блаженство / В кругу друзей своих, родных, / Утех вкушает совершенство / В деяньях добрых лишь одних» (В. В. Попугаев. «К друзьям», 1803); «Спокойство в нас самих, и горе! кто его / Мечтает обрести вне сердца своего. <...> / Познай же из того суд Неба наконец, / Что счастье не в вещах, но в чистоте сердец» (Е. И. Станевич. «Мои желанья. К уединению», 1805).

Обратим внимание в процитированных отрывках на выражение «быть счастливым самим собою», отсылающее к одной из «техник» достижения и поддержания душевного покоя — так называемому искусству *jouir de soi-même*. В основу его легла стоическая идея автаркии (греч. *autarkeia*) — самодостаточности и довольства собой, которая в латинской традиции часто передавалась перифрастическими оборотами: ср. описание одного из элементов счастливого покоя в «Письмах к Луцилию» — «in summa tui satietate» («<будешь> полон/сыт самим собой» — Ер. XXXII, 4) — и знаменитое определение истинно свободного человека в седьмой сатире Горация — «sapiens <...> in se ipso totus» («мудрец, полный/завершенный/достаточный в самом себе» — Sat. II, 7, 83, 86). Соединив идею автаркии с замечательно развитой в христианстве практикой внутреннего самоотчета, «век разума» выработал своеобразную психологическую технику для поддержания состояния спокойного довольства. «Быть счастливым самим собой, — писал автор

трактата «La Jouissance de soi-même» маркиз Караччиоли, — значит иметь свою душу в покое, знать ее движения и следовать им, выработать для себя систему, которая предупреждала бы нас о наших мыслях и напоминала о последовательности. Это значит каждый день отдавать себе отчет в своих наклонностях, в своих желаниях, в своих поступках. Это значит, наконец, проникнуть изгибы собственного сердца, понять, каково оно есть на самом деле, читать себя, если можно так выразиться, как читаешь книгу»<sup>51</sup>. Подобное познание самого себя подразумевало неустанную деятельность разума, который обуздывал бы страсти, соразмерял желания и не давал душе впасть в апатию. Постоянная активность ума как условие душевного покоя не так парадоксальна, как это может показаться на первый взгляд: сохранение душевного равновесия требовало от человека таких же усилий, как поддержание физического равновесия от канатоходца. Наконец, познание самого себя излечивало от стремления к излишнему: заключив мерило истинных ценностей в самом себе, человек научался довольствоваться тем, что имеет, и «гордиться единственно званием человека, богатством духа, достоинством добродетели»<sup>52</sup>.

Если говорить о внешних условиях достижения идеала *счастливого покоя*, то главным из них для философии счастья XVIII в. была *свобода*. И в этом XVIII столетие не было оригинальным: уже у эпикурейцев и стоиков свобода от боли, желаний и страха служила непременной составляющей внутреннего покоя, а свобода от ограничений и условностей, навязываемых обществом, — основным принципом существования мудреца. В философии счастья XVIII в. акцент чаще всего переносился на социальную сторону: независимость и беспрепятственное волеизъявление (ср. рус. *воля*) были главным условием обретения и поддержания внутреннего покоя. Многочисленные примеры триады *счастье—покой—свобода/воля* мы найдем в русской поэзии XVIII — начала XIX в.:

---

<sup>51</sup> Caraccioli L.-A. La Jouissance de soi-même. Utrecht, 1759. P. 32. Интересно, что обширные цитаты из этого труда приводились в комментариях к трактату «De brevitae vitae» на страницах, разрезанных в пушкинском экземпляре Сенеки.

<sup>52</sup> Ibid. P. 176. Ср. у М. Н. Муравьева: «Богат, кто, знаячи своим достатком жить, / Желаниям предел умеет положить, / И словом, счастлив тот и тот один свободен, / Кто счастья в крайностях всегда с собою сходен, / В сиянии не горд, в упадке не уныл, / В себе самом свое достоинство сокрыл; / Владыка чувств своих, их бури утишает / И скуку жития ученьем украшает» («Эпистола к его превосходительству И. П. Тургеневу», 1774, 1780-е); еще один вариант перевода выражения *jouir de soi-même* находим у В. С. Филимонова: «Открывший таинство довольным быть собою / За безрассудно не следуешь толпою, / В дома блестящие за счастьем ты нейдешь...» («К Д. А. Остафьеву», 1812).

«Если малым кто доволен, / Кто не горд, спокоен, волен<sup>53</sup>, / Тот есть счастлив человек» (В. И. Майков. «Счастье», 1778); «Обедов не ишу, не знаем я, но волен; / О милый мой Камин, как я живу доволен. / Читаю ли я что, иль греюсь, иль пишу, / Свободой, тишиной, спокойствием дышу...» (В. Л. Пушкин. «К камину», 1793); «Возможно ли сравнять что с вольностью златой, / С уединением и тишиной на Званке? / Довольство, здравие, согласие с женой, / Покой мне нужен дней — в останке» (Г. Р. Державин. «Евгению. Жизнь Званская», 1807); «Блажен, кто почестей ничтожных не желает, / Которые мертвят свободу и покой! / Довольный тем, что есть, / Он жизнь благословляет...» (А. И. Мещевский. «Уединение», 1809); «В свободе, в тишине ты украшал свой круг. / Ты был у пристани в спокойствии, мой друг! А я? — раб случая, я странник, я скитался...» (В. С. Филимонов. «К Д. А. Остафьеву», 1812); «Но я и счастлив и богат, / Когда снискал себе свободу и спокойство, / А от сует ушел забвения тропой!» (К. Н. Батюшков. «Мечта», 1817); «Так юного поэта / Вдали от шума света / Проходят дни в глуши; / <...> С ним вместе обитают / Свобода и покой / С веселостью беспечной...» (К. Ф. Рылеев. «Пустыня», 1821).

Однако философия счастья XVIII в. остерегалась полного отказа от вовлеченности в социальную жизнь, характерного для эпикурейской и стоической эвдемологии. «Век разума» стремился найти Аристотелю «золотую середину» между противоположными полюсами: благом индивидуума и благом общества, полным одиночеством и зависимостью от толпы, холодным эгоизмом и страстным самоотречением. Из всех моделей счастливой жизни этим требованиям лучше всего отвечала картина сельского счастья, которая, как отметил Роберт Мози<sup>54</sup>, практически не менялась на протяжении всего XVIII столетия. Ее неизменными составляющими были — скромный дом в деревенском уединении, сад, книги, избранные друзья, любимая подруга. Ср.:

Я уже заранее составил себе план одинокой и мирной жизни. В него входила уединенная хижина, роща и прозрачный ручей на краю сада; библиотека избранных книг; небольшое число достойных и здравомыслящих друзей; стол умеренный и простой. <...> Однако, размышляя о столь мудром устройении моей будущей жизни, я почувствовал, что сердце мое жаждет еще чего-то, и, дабы уж ничего не оставалось желать в моем прелестнейшем уединении, надо было

<sup>53</sup> Обратим внимание на устойчивую рифменную пару *доволен—волен*: впервые употребленная Кантемиром в сатире «О истинном блаженстве», она также использована в оде В. И. Майкова «Счастье», в «Видении мурзы» Г. Р. Державина, в «Камине» В. Л. Пушкина и т. д. Паронимическая игра дополнительно подчеркивала связь между свободой и счастьем.

<sup>54</sup> *Mauzi R. L'idée du bonheur... P. 334–335.*

только удалиться туда вместе с Манон (А.-Ф. Прево. «История кавалера де Грие и Манон Леско», 1728).<sup>55</sup>

Ах! Оставим свет, оставим города и их печальное население! Пойдем наслаждаться природой; пойдем жить с этими добрыми людьми, которые так хорошо понимают счастье! Уединенная, цветущая местность, простой дом, чуждый пышности, сад, рощи, пересекаемые струящейся речкою — вот наши богатства... Я сам первый буду обрабатывать мой сад... Мы соберем вокруг себя честных людей и составим с ними одну семью (Н.-Ж. Леонар. «Переписка двух любовников из Лиона...», 1783).<sup>56</sup>

Хижина, которую я построил в лесу у подножия дерева, маленькое поле, возделанное моими руками, речка, бегущая перед моим домом, приносят мне все необходимое для счастья. К этим радостям я прибавил несколько хороших книг, которые учат меня тому, как стать лучше (Бернарден де Сен-Пьер. «Поль и Виргиния», 1788).<sup>57</sup>

Самое <счастливое состояние есть> ближайшее к природе: состояние независимого земледельца, который умеренным трудом мог бы доставлять себе не только нужное для пропитания, но и некоторые удобства в жизни; мог бы иметь светлую хижинку, маленькой садик, ум для внимания к премудрым действиям Натуры и чувствительное сердце для любви к милой подруге (Н. М. Карамзин. «Разговор о счастье», 1797).<sup>58</sup>

Этот ряд цитат можно с легкостью продолжить, добавив в него и прозаический фрагмент пушкинского текста, и предложенные в качестве его возможных источников пассажи из «Времен года» Томсона и «Прогулки» Вордсворта.

Теперь мы можем предположить, что связывает и что разделяет два фрагмента, записанных на листе ПД № 241. Оба текста посвящены проблеме истинного счастья — его достижимости и путей к нему, оба описывают уход от мира в поисках покоя, однако каждый из них обладает своим собственным идеологическим контекстом. Стихотворение «Пора, мой друг, пора!..» излагает стоическое представление о

---

<sup>55</sup> Прево А.-Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско / Пер. М. А. Петровского. М., 1964. С. 42.

<sup>56</sup> Léonard N.-G. Lettres de deux Amans habitans de Lyon... Londres; Paris, 1783. P. 174–175.

<sup>57</sup> Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Paul et Virginie. Paris, 1984. P. 193.

<sup>58</sup> Карамзин Н. М. Избр. соч. М., 1884. Ч. 1. С. 496.

счастье «по первоисточнику», возвращая входящим в него концептам их первоначальное значение: счастье в обыденном понимании этого слова — это призрак, истинное счастье — в суровом покое, в добродетели, в отказе от внешних благ, в свободе, которую иногда приходится утверждать ценой собственной жизни<sup>59</sup>. Прозаический фрагмент лишен внутреннего драматизма стоической «науки жить и умирать» и проникнут оптимистическим пафосом искусства «быть счастливым самим собой». Вовремя обретенная мудрость, мирная жизнь на лоне природы, поэтические труды, семейные радости — вот истинное счастье, доступное благоразумному и добродетельному человеку XVIII столетия. Признаемся, что нам трудно представить себе текст, который смог бы примирить в себе столь разные взгляды на проблему счастья.

Однако не будем спешить с выводами: пока что мы сумели выяснить только идеологический контекст прозаического фрагмента, а вопрос о его возможных литературных источниках по-прежнему остается открытым. Текстуальный параллелизм процитированных выше описаний счастливой жизни подсказывает нам направление дальнейших поисков.

#### IV

Описанное нами представление об идеальном устройении жизни в философии счастья XVIII в. во многом коррелировало с классической риторической традицией «похвалы сельской жизни»<sup>60</sup>, которую иногда именуют *beatus ille* — по первым словам второго эпода Горация<sup>61</sup>: «*Beatus ille qui procul negotiis, / ut prisca gens mortalium / paterna rura bobus*

---

<sup>59</sup> Дополнительный смысловой фон этого текста создает биография самого Сенеки. «Письма к Луцилию» были написаны, когда бурная и неоднозначная жизнь их автора подходила к концу: ненавидимый собственным воспитанником — Нероном, Сенека удалился в свое поместье, надеясь обрести в конце жизни настоящий покой, но преследования императора не прекратились, и философ был принужден покончить с собой, выказав удивительное мужество перед лицом смерти. Напомним, что идея жертвенной гибели особенно занимала Пушкина в начале 1830-х гг., когда среди прочего была написана «<Повесть из римской жизни>» о самоубийстве Петрония — еще одной жертвы Нерона. Об этом см.: *Лотман Ю. М. Опыт реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе // Врем. ПК 1979. Л., 1982. С. 15—27.*

<sup>60</sup> О традиции *beatus ille* см., прежде всего, исследование, посвященное ее рецепции в английской литературе XVII—XVIII вв.: *Røstvig M.-S. The Happy Man: Studies in the Metamorphosis of a Classical Ideal. Vol. 1—2. Oslo; New York, 1958—1962.*

<sup>61</sup> Ср. у Г. Р. Державина: «*Беатус! брат мой, на волах / Собою сам поля орющий / Или стада свои пасущий! — / Я буду восклицать в пирах*» («На счастье», 1789).



exercet suis / solutus omni faenore...» (Eпод. 2, 1—4)<sup>62</sup>. Другое название этой традиции — *O fortunatos agricolas*.<sup>63</sup> — было дано по первой строке известного отрывка о счастье земледельцев из «Георгики» Вергилия: «O fortunatos nimium, sua si bona norint, / agricolas! quibus ipsa procul discordibus armis / fundit humo facilem victum iustissima tellus. / <...> at segura quies et nescia fallere vita, / dives opum variarum, at latis otia fundis» (Georg. II, 458—460, 467—468)<sup>64</sup>.

Античная традиция «похвалы сельской жизни» начала свой очередной расцвет в эпоху Ренессанса<sup>65</sup>. Главными источниками сельской топики для поэтов Нового времени стали, наряду со вторым эподом Горация, два пассажа из «Георгики» Вергилия — процитированный выше отрывок о счастье земледельца (II, 458—540) и описание старика-садовода из Таранто (IV, 116—148), шестая сатира (Sat. II, 6) и ода Горация «Otium divos rogat...» («Покоя просит у богов...» — Od. II, 16), первая элегия Тибулла (I, 1), эпиграммы о сельской жизни Марциала (I, 49; III, 58, приписывавшаяся Марциалу II, 90) и эпиграммы Клавдиана о старике из окрестностей Вероны (XX, 52). Очередное начало поэтическим опытом в этом роде было положено итальянскими поэтами-гуманистами (ср. латинские оды Людовико Ариосто, Марка Антонио Фламинио и Бернардино Рота), примеру которых последовали поэты Плеяды. В 1583 г. во Франции вышла первая антология стихотворений «о приятностях сельской жизни»<sup>66</sup>, а в 1618 г. французский извод этой традиции обогатился замечательными «Стансами к Тирсису» Ракана (любопытно, что два века спустя русский поэт А. И. Мещевский

<sup>62</sup> «Блажен лишь тот, кто, суеты не ведая, / Как первобытный род людской, / Наследье дедов пашет на волах своих, / Чуждаясь всякой алчности...» (пер. А. П. Семенова-Тян-Шанского).

<sup>63</sup> См., например: *Laharpe J. F. Lycée, ou Cours de littérature Ancienne et Moderne*. Toulouse, 1813. Т. 6. Р. 261.

<sup>64</sup> «Трижды блаженны — когда б они счастье свое сознавали! — / Жители сел. Сама, вдалеке от военных усобиц, / Им справедливо земля доставляет нетрудную пишу. / <...> Верен зато их покой, их жизнь простая надежна. / Всем-то богата она! У них и досуг и приволье». Здесь и далее Вергилий цитируется в переводах С. В. Шервинского.

<sup>65</sup> *Beatus ille* в качестве «жизненной философии» соотносится с более широкой пасторальной традицией; об этом см. хотя бы лекцию Й. Хейзинги «Об исторических жизненных идеалах» (*Хейзинга Й. Об исторических жизненных идеалах и другие лекции*. Лондон, 1992. С. 91—117). Однако риторическую традицию похвалы сельской жизни удобно описывать отдельно от пасторальных жанров.

<sup>66</sup> *Le plaisirs de la vie rustique, qui sont div. Poèmes sur ce sujet, extraits de plus excellents Auteurs de nostre temps*. Paris, 1583. Общий обзор традиции в XVII в. см.: *Beugnot B. Le Discours de la retraite au XVII-me siècle*. Paris, 1996.

прославился своим подражанием Ракану, начинавшимся «пушкинской» формулой: «Тирсис! Пора, пора любить уединенье!»<sup>67</sup>). В Англии первые регулярные обращения к традиции *beatus ille* датируются началом XVII в., а ее активное распространение началось после гражданских войн (1642–1648), когда роялисты и англикане стали искать в идеале мирной сельской жизни убежища от религиозного и социального пыла пуритан. В 1668 г. Абрахам Каули в книге «*Essays and Discourses. On Agriculture*» («Опыты и речи. О сельском хозяйстве») поместил переводы восемнадцати латинских стихотворений, принадлежащих традиции *beatus ille* или примыкающих к ней; в отличие от остальных произведений Каули, забытых довольно быстро, эта книга служила образцом для английских «похвал сельской жизни» в течение по меньшей мере полутора веков.

В Россию традиция *beatus ille* по понятным причинам пришла намного позже других европейских литератур: сатира Антиоха Кантемира «О истинном блаженстве»<sup>68</sup> была написана в 1738 г., а опубликована в 1762-м, а его же ода «О жизни спокойной» (1740) увидела свет только в 1906 г.; таким образом, первым оказался В. К. Тредиаковский со своими «Строфами похвальными поселянскому житию» (1752). Однако многочисленные переводы и подражания, появившиеся в последующие сто лет, с лихвой компенсировали относительно позднее усвоение традиции. Только второй эпод Горация с 1752 по 1830 г. был напечатан в десяти различных переводах, а ода «*Otium divos rogat...*» — в тринадцати; в числе переводчиков были Державин, Капнист, Дмитриев, Мерзляков, Милонов, Воейков, Раич и др.<sup>69</sup> Одновременно с античными образцами был воспринят и обширный корпус их европейских интерпретаций, разветвленность которых обусловила, с одной стороны, продуктивность этой традиции на русской почве, а с другой — ее внутреннюю противоречивость, а подчас и полемичность.

Распространению топики *beatus ille* способствовал, среди прочего, и наджанровый характер риторической традиции: ее античные источники принадлежали к достаточно широкому кругу жанров (ода, сатира

---

<sup>67</sup> «Уединение» А. И. Мещевского впервые появилось в издании Московского университетского пансиона «Утренняя заря» (см.: Избранные сочинения из «Утренней зари». М., 1809. Ч. 1), а затем неоднократно перепечатывалось в «Собраниях образцовых русских сочинений и переводов». Любви Пушкина к восклицианию *пора* посвящена специальная одноименная глава в книге В. Ф. Ходасевича «О Пушкине».

<sup>68</sup> Детальное описание топики *beatus ille* в сатирических контекстах см. в фундаментальном исследовании: Щеглов Ю. К. Антиох Кантемир и стихотворная сатира. СПб., 2004. С. 313–338.

<sup>69</sup> См.: Античная поэзия в русских переводах XVIII–XX вв.: Библиогр. указатель / Сост. Е. В. Свиясов. СПб., 1998. С. 300, 289–290.

и эпод Горация, описательная поэма Вергилия, элегия Тибулла<sup>70</sup>, эпиграммы Марциала и т. д.), а, став темой для школьных упражнений в риторике, «похвала сельской жизни» и вовсе эмансипировалась. С одной стороны, она могла разрастаться до пределов микрожанра, как это произошло, например, в английской поэме о сельской усадьбе (ср. в русской традиции «Жизнь Званскую» Державина и «Осугу» А. М. Бакунина), но могла и сокращаться до простого перечня примет счастливой жизни, носящего вспомогательный или орнаментальный характер.

В XVIII в. топика *beatus ille* была присвоена философией счастья: прочитанная под новым углом зрения, риторическая традиция предстала детально разработанной программой достижения и поддержания счастливого покоя. Жизненный идеал *beatus ille* мог быть возведен более или менее к тому же кругу античных философских источников, что и философия счастья, а сформированный этой риторической традицией набор топосов оказался достаточно гибким и емким, чтобы впустить в себя новое интеллектуальное наполнение и выразить очередные увлечения эпохи, будь то натурфилософия, филантропия или парковое искусство.

Что же входило в риторическую структуру *beatus ille*? Ее основная посылка — счастье или блаженство сельского жителя<sup>71</sup> — обычно доказывалась с помощью аргументов двух видов: по аналогии и от противоположного. Сельская жизнь отвечает как эпикурейскому правилу «жить незаметно», так и стоическому — «жить согласно с природой»: в отличие от солдата или купца, земледелец довольствуется скромными плодами собственного труда, не гонится ни за властью, ни за богатством и живет в мире и покое, следуя естественным природным ритмам. Доказательства а *contrario* включали в себя описания тягот и опасностей, которые влекут за собой все прочие профессии, и общую критику городской жизни.

---

<sup>70</sup> О влиянии первой элегии Тибулла на русскую поэзию пушкинской поры см.: Пильщиков И. А. «Я возвращуся к вам, поля моих отцов...»: Баратынский и Тибулл // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 1994. Т. 53, № 2. С. 29–47.

<sup>71</sup> Из двух распространенных зачинов «похвалы сельской жизни» в русской традиции — «Блажен...» и «Счастлив...» — первый восходит ко второму эподу Горация («*Beatus ille...*»), а второй — к «Георгикам» Вергилия («*O fortunatos... agricolas*») и к зачину стихотворения Клавдиана о старике из окрестностей Вероны («*Felix, qui patriis aeuum transegit in agris...*»). Горацианская формула наложилась на библейские источники: начало первого псалма и Нагорную проповедь (истории формулы «Блажен, кто...» в русской поэзии был посвящен доклад Г. А. Левинтона на Третьих чтениях памяти Е. Г. Эткинда в Европейском университете (Санкт-Петербург) в июне 2004 г.).

В городе человек скован физически тесным соседством с себе подобными, которое заставляет его страдать от шума, грязи и плохого воздуха. Человеческое общезитие порождает несвободу и другого рода: городской житель не принадлежит самому себе — он зависит от ниже- и вышестоящих, он вынужден заниматься делами и интересоваться новостями, не имеющими к нему непосредственного отношения. Пороки — алчность, гордыня, тщеславие — расцветают в городе и умирают в деревне, где только и сохранились добродетели Золотого века<sup>72</sup>. Пушкин с замечательным лаконизмом суммировал эту топику в одной строке «Цыган» — «неволя душных городов». Ср. ее более подробные вариации в поэзии XVIII — начала XIX в.:

«From city-noise, and airs, and fire, / May I in my last days retire; / May I with humble rural rest / And studious ease, at last, be blest; / Withdrawn to some secluded place, / Where life improv'd prolongs its race. <...> / Where hearts are calm, and heads are bright, / Free as the air, serene as light» (J. Reynolds. «A View of Death», 1709); «Here too lives simple truth: plain innocence; / Unsully'd beauty; sound, unbroken youth, / Patient of labour, with a little pleased; / Health ever-blooming; unambitious toil; / Calm contemplation, and Poetic Ease» (J. Thompson. «Autumn», 1730); «Laissons, ô mon aimable amie, / L'habitant des cités, en proie à ses désirs, / S'agiter tristement et tourmenter sa vie, / Pour se faire à grands frais d'insipides plaisirs. / Les champs du vrai bonheur sont le riant asile: / L'œil y voit sans regret naître et mourir le jour; / Leur silence convient à la vertu tranquille, / Au noble esprit qui pense, et surtout à l'amour» (A. de Bertin. «Éloge de la campagne. A Catilie», 1780); «Оставьте мрачность стен, / Оставьте городской темницы скучной плен: / Громада камней сих Природу омрачает / И воздух тмится здесь в сгущенных облаках! / Здесь заточение — свобода на лугах!» (З. А. Буринский. «К К. Е. Д. Щ. Приглашение в деревню», 1807); «Обитель счастья, небес благословенье, / Где кроткие дары прелестных муз цветут, / Безвестность, мудрого покой и наслажденье, / Как сладко он с тобой проходит жизни путь! // <...> Там древ густых в тени, потоком орошенных, / Как сладко он поет блаженство дней своих! / Не зрит ужасных лиц, пороком искаженных, / И, злобных испытав, бежит от сонма их. //

<sup>72</sup> Из античных источников этого топоса следует особенно выделить строки из «Георгик» (II, 466–474): «at securā quies et nescia fallere vita, / dives opum variarum, at latis otia fundis <...> / illic saltus ac lustra ferarum / et patiens operum exiguoque adsueta iuventus, / sacra deum sanctique patres; extrema per illos / iustitia excedens terris vestigia fecit» («Верен зато их покой, их жизнь простая надежна. / Всем-то богата она! У них и досуг и приволье, <...> / Трудолюбивая там молодежь, довольная малым; / Вера в богов и к отцам уваженье. Меж них Справедливость, / Прочь с земли уходя, оставила след свой последний»).

Не зная хитрости, коварных обольщений, / Неправды, клеветы —  
деля с одним собой / Веселье тайное своих благотворений, / Он  
ближним верный друг! он друг добра прямой!» (М. В. Милонов.  
«Счастье неизвестности», 1809); «Как воздух, так и ум в людских  
оградах сжат: / Их всюду тяжкие препятствия теснят. / И думать и  
дышать равно в столицах душно! / В них мысль запугана, в них  
чувство малодушно... <...> / В полях, сынов земли свободной колы-  
бели — / Стремится бытие к первоначальной цели: / Отвагою надежд  
кипит живая грудь / И думам пламенным открыт свободный путь. /  
Под веяньем деревьев и беглых вод журчаньем / Спит честолюбие с язви-  
тельным желаньем...» (П. А. Вяземский. «Деревня», нач. 1820-х гг.);  
«К чему там, где роскошь столпила безмолвные камней громады, /  
Дыхание сжала стенами, а сердце и мысль принуждением, / К чему  
там, подругу свободы, искать легкокрылую радость! / Приди к нам  
в долины! Здесь сердце живет лишь с собой и Природой!» (П. И. Ко-  
лошин. «Деревня», 1825); «Вдали заботен темный город, / Но на  
покосах шелковых / Всяк беззаботен, бодр и молод / Под звуком  
песен удалых» (Ф. Н. Глинка. «Воспоминание», <1831>).

Античная топка могла быть переосмыслена с христианской точки зрения; в этом случае традиция *beatus ille* сливалась с богатейшей идеологией бегства от мира и поиска пути к Богу через уединение<sup>73</sup> (замечательным образчиком соединения античной и христианской топки были уже упоминавшиеся «Стансы к Тирсису» Ракана).

Аргументом в пользу сельской жизни нередко служила теория темпераментов: уединение на лоне природы рекомендовалось натурам созерцательным, а не деятельным; с «профессиональной» точки зрения подобный образ жизни больше всего подходил поэтам и философам. Персонификацией такой позиции обычно выступали «поэты-мудрецы» Гораций, Вергилий и Петрарка.

Наконец, мотивация для отказа от городской жизни могла быть почерпнута в античной теории трех возрастов. Ссылаясь на авторитет Сократа, эту теорию излагал Монтень: «...юношам подобает учиться, взрослым — упражняться в добрых делах, старикам — отстраняться от

---

<sup>73</sup> Так, например, видный масон князь Г. П. Гагарин объяснял свой отъезд в деревню цитатой из Псалмов (54, 8–12): «Се дулихя бегая и водворихся в пустыни <...> яко видех беззаконие и пререkanie во граде. Днем и нощию обьдет и по стенам его, беззаконие и труд посреде его, и неправда, и не оскуде от стогн его лихва и лесь» (Гагарин Г. П. Забавы уединения моего в селе Богословском. СПб., 1813. То же: М., 2002. С. 125–127). В числе христианских поэтических текстов, оказавших влияние на топiku *beatus ille*, нужно особенно упомянуть знаменитый гимн св. Бернарда Клервоского “*O beata solitudo! O sol beatitudo*”, первая строка которого стала крылатым выражением и часто использовалась в качестве девиза и декоративной надписи.

всяких дел <...> и жить по своему усмотрению без каких-либо определенных обязанностей. <...> Уединение <...> имеет разумные основания скорее для тех, кто успел уже отдать миру свои самые деятельные и цветущие годы, как это сделал, скажем, Фалес. <...> Наступил час, когда нам следует расстаться с обществом, так как нам больше нечего предложить ему» (Опыты, кн. I, гл. 39 «Об уединении»). В топике *beatus ille* распространенным образом такой модели служили два римских императора, исполнивших свой общественный долг и удалившихся в сельское уединение, — Цинциннат и Диоклетиан.

Отзвук модели трех возрастов слышен в первом абзаце прозаического фрагмента ПД № 241: «Юность не имеет нужды в *at home*<sup>74</sup>, зрелый возраст ужасается *своего* уединения<sup>75</sup>. Блажен кто (ср. гораціанский зачин — *beatus ille qui...* — Н. М.) находит подругу — тогда удались он *домой*». Традиционная модель трансформирована: потребность в уединении предписана не старости, а зрелости; жизненным рубежом, после которого человек ищет покоя, становится не завершение службы отечеству, а обретение семьи. Здесь у Пушкина был авторитетный русский предшественник — Н. М. Карамзин со своим рассуждением «О счастливейшем времени жизни» (1803):

Какую же эпоху жизни можно назвать *счастливейшею по сравнению?* <...>... *последнюю степень физической зрелости* — время, когда все душевные способности действуют в полноте своей, а телесные силы еще не слабеют приметно; когда мы уже знаем свет и людей, их отношения к нам, игру страстей, цену удовольствий и закон природы, для них установленный <...>. <...> Как плод дерева, так и жизнь бывает всего сладостнее *перед началом увядания*. <...> ...человек за тридцать пять лет (интересно, что Карамзину в это время, как и Пушкину в момент работы над текстом ПД № 241, тридцать шесть лет. — Н. М.), без сомнения, не пылает уже так страстями, как юноша, а в самом деле может быть гораздо его счастливее.

В сие время люди по большей части бывают уже супругами, отцами и наслаждаются в жизни самыми вернейшими радостями: семейственными. Мы ограничиваем сферу бытия своего, чтобы не бегать вдалека за удовольствиями; перестаем странствовать по туманным

---

<sup>74</sup> М. Б. Мейлах предположил, что неоднократно отмечавшаяся грамматическая неточность в пушкинском употреблении выражения *at home* может объясняться не столько цитатой из английского источника, сколько аналогией с французской идиомой *chez-soi* (устное сообщение на Тыняновских чтениях летом 2004 г.).

<sup>75</sup> Сама фраза построена по модели моралистического афоризма — ср. с максимой Лабрюйера (1688): «*Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent, s'accoutument mieux de la solitude que les vieillards*» («Молодые люди, благодаря тому, что их развлекают страсти, лучше переносят одиночество, чем старики») (*La Bruyère. Les caractères*. Paris, 1817. Т. 2. P. 73).

областям мечтания; *живем дома* (ср. с пушкинским «удались он *домой*». — *Н. М.*), живем более в самих себе, требуем менее от людей и света; менее огорчаемся неудачами, ибо менее ожидаем благоприятных случайностей. Жребий брошен: состояние избрано, утверждено; стараемся возвеличить его достоинство пользою для общества; хотим оставить в мире благодетельные следы бытия своего; воспитание детей, хозяйство, государственные должности обращаются для нас в душевное удовольствие, а дружба и приязнь в сладкое отдохновение... Поля, нашими трудами обогащенные, садик, нами обработанный, земледельцы, нас благодарящие, лица домашних спокойные, сердца их, к нам привязанные, радуют мирную душу опытного человека более, нежели сии шумные забавы, сии признаки воображения и страстей, которые обольщают молодость.<sup>76</sup>

Любопытным примером собирания в одном тексте едва ли не всех аргументов в пользу уединения служит юношеское стихотворение Пушкина «К Лицинию» (1815): здесь есть и критика городских сует, и стоическое презрение к судьбе, и эпикурейское устройство жизни, и идея обретения покоя на склоне лет, и, наконец, образ поэта, живущего в уединении:

Лициний! поспешим далеко от забот,  
Безумных гордецов, обманчивых красот!  
Докучных риторов, парнасских Геростратов,  
В деревню пренесем отеческих пенатов!<sup>77</sup>  
В тенистой рощице, на берегу морском  
Найти нетрудно нам красивый, светлый дом,

---

<sup>76</sup> *Карамзин Н. М.* Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1984. Т. 2. С. 204–206. Об этом тексте см.: *Зюзин А. В.* Философско-публицистическое эссе Н. М. Карамзина «О счастливейшем времени жизни» // *Филология: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 1999. Вып. 4; Сапченко Л. А.* «Времена года» Дж. Томсона и «О счастливейшем времени жизни» Н. Карамзина // *XVIII век: Искусство жить и жизнь искусства: Сб. науч. работ. М., 2004.*

<sup>77</sup> Еще раз подтвердим справедливость наблюдения В. Ф. Ходасевича о том, что в «поэтическом хозяйстве» Пушкина ничего не пропадало даром: фраза из прозаического фрагмента ПД № 241 — «О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню» — совместила лексику этой строки из стихотворения «К Лицинию» с модусом цитаты из Горация — «o rus, quando ego te aspiciam?» (Sat. II, 6, 60), которая к этому времени уже была использована Пушкиным в качестве эпиграфа ко второй главе «Онегина». Похоже, что в этой главе скрыта еще одна отсылка к шестой сатире Горация: вспомним необычное именование деревенского дома, доставшегося в наследство Онегину, замком — «Почтенный замок был построен / Как замки строить должны...» (Акад. Т. 6. С. 31). Набоков язвительно критиковал объяснение этого слова, данное Д. Чижевским: ««вероятно, под влиянием прибалтийских губерний поблизости» — каким влиянием? поблизости чего?»

Где, больше не страшась народного волнения,  
Под старость отдохнем в глуши уединенья  
И там, расположась в уютном уголке,  
При дубе пламенном, возженном в камельке,  
Вспомнив старину за дедовским фиалом,  
Свой дух воспламеню Петроном, Ювеналом...<sup>78</sup>

За аргументами в пользу сельской жизни обычно следовала описательная часть «похвалы». Основной круг входящих в нее топосов — небольшой надел земли, скромный дом, сад, лес, ручей, книги, покой — был очерчен в шестой сатире Горация (1–3, 60–63):

Nos erat in votis: modus agri non ita magnus,  
hortus ubi et tecto vicinus iugis aquae fons  
et paulum silvae super his foret. <...>  
o rus, quando ego te aspiciam? quandoque licebit  
nunc veterum libris, nunc somno et inertibus horis  
ducere sollicitae iucunda oblivia vitae?<sup>79</sup>

Ср.:

«How happy he, who free from care, / The rage of courts, and noise of  
towns; / Contented breaths his native air, / In native grounds. <...> Blest!

однако его собственная трактовка кажется немногим убедительнее: «замок — обычный русский перевод французского *chateau*» (*Набоков В. В.* Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина. М., 1999. С. 244). Возможно, пушкинский «замок» отсылает к строке: «ergo ubi me in montes et in arcem ex Urbe removi» («когда я удалюсь из города в горы и в мой замок» — *Hor. Sat. II, 6, 16*). Замок (твердыней, крепостью) Гораций называл свой сельский домик, поскольку надеялся скрыться там от осаждавших его в городе хлопот. О стоических источниках образа внутренней твердыни см.: *Марк Аврелий Антонин.* Размышления. СПб., 1993. С. 47, 209 (VIII, 48; примеч. 2).

Свод накопленных к настоящему времени наблюдений об отношении Пушкина к Горацию обобщен в очень полезной статье: *Рабинович Е. Г.* Заметки о Пушкине и Горации // *Studia metrica et poetica.* СПб., 1999. С. 200–213; однако окончательный вывод автора о том, что Пушкин плохо знал и не любил латинского поэта, кажется нам слишком поспешным. Уже после статьи Е. Г. Рабинович появилась работа: *Шейна Ю. В. А. С.* Пушкин и Гораций: (Буколические мотивы в лирике Пушкина и их истоки) // *Пушкин и античность.* М., 2004. С. 51–62.

<sup>78</sup> *Пушкин А. С.* Соч. Т. 1: Лицейские стихотворения. 1813–1817 / Ред. В. Э. Вацуро. СПб., 1999. С. 104.

<sup>79</sup> Одним из самых удачных русских переводов этих строк и по сей день остается перевод М. Н. Муравьева: «Хотелось мне иметь земли уголок, / И садик, и вблизи прозрачный ручеек, / Лесочек сверх того <...> / Жилища сельские! Когда я вас узрю? / Когда позволено мне будет небесами, / Иль чтением, иль сном и праздными часами / Заботы жития в забвенья погрузить...» (<1789–1790>).



Who can unconcern'dly find / Hours, days and years slide swift away, / In health of body, peace of mind, / Quiet by day» (A. Pope. «Ode on Solitude», 1717); «Heureux qui des mortels oubliant les chimères / Possède une campagne, un livre, un ami sûr, / Et vit indépendant sous le toit de ses pères» (N.-G. Léonard. «Le Bonheur», <1781>); «Quand pourrai-je habiter un champ qui soit à moi? / Et, villageois tranquille, ayant pour tout emploi / Dormir et ne rien faire, inutile poète, / Goûter le doux oubli d'une vie inquiète?» (A. Chénier. *Élégie XIV*, <1819>); «Твой кров березы осеняют, / Они смиренно охраняют, / Чтоб не потряс тебя Борей; / Перед тобой ручей струится, / Волной сверкает и гордится, / Служа оградой твоей. // И холм, украшенный цветами, / Где боги жить могли бы сами, / Приютом служит для тебя. / Твой друг, от шума удаленный, / Людьми, судьбою угнетенный, / В тебе счастливым чтит себя» (Н. Ф. Остолопов. «К моей хижинке», 1802); «Уединенну жизнь я пел и буду петь. / Желая для того свой уголок иметь; / Построить домик там близ рощицы прекрасной, / На берегу реки приятной, быстрой, ясной; / Чтоб сельска простота везде видна была; / Невинность в нем себе убежище б нашла» (Е. И. Станевич. «Мои желания. К уединению», 1805); «Чертог, украшенный искусною рукой, <...> / не так мне нравится, как сельский домик тесный, / Но светлый и простой» (Д. В. Давыдов. «Договоры», 1807); «В прохладе ясеней, шумящих над лугами, <...> Где путник с радостью от зноя отдыхает, / Под говором деревьев, пустынных птиц и вод: / Там, там нас хижина простая ожидает, / Домашний ключ, цветы и сельский огород» (К. Н. Батюшков. «Таврида», 1815); «Благословляю сень дубров, / Мою деревню, сад и поле; / Не беден я, живу на воле; / Не знаю тягостных трудов; / Есть полка книг, гряда цветов, / Пишу стихи: чего ж мне боле?» (П. А. Плетнев. «Идеал», 1825).

Очевидно, что к рассмотренному комплексу мотивов восходит и пушкинский перечень в тексте ПД №241: «поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть» (подробнее о топической структуре этого списка см. в Приложении). Здесь перед нами, конечно же, не «поэтическая исповедь», как предполагал Гофман, и не подражание неизвестному английскому источнику, а краткий конспект ненаписанной «похвалы сельской жизни», полностью укладывающийся в рамки давней и устойчивой риторической традиции *beatus ille*.

Такое прочтение прозаического фрагмента позволяет ответить на многие вопросы к пушкинскому тексту, но в то же время обнажает одну насущную методологическую проблему. Современные интернетуальные исследования, как правило, ограничиваются описанием системы отношений текста — подтекст — контекст, игнорируя существование топических структур, подобных традиции *beatus ille*, обладающих

свойствами и подтекста, и контекста одновременно. Следствием этого становятся две распространенные ошибки: либо устанавливается однозначная интертекстуальная зависимость между текстами, которые связаны лишь общей тематикой, либо происходит беспредельное расширение так называемого «мотивного контекста» или набора никак не структурированных «типологических параллелей». Единственный способ избежать подобных погрешностей — заняться наконец исследованием основных тематических гнезд. Эта задача особенно актуальна для пушкинской эпохи — периода распада нормативной поэтики и формирования универсального поэтического языка, когда происходит переосмысление классических топосов, освобожденных от жестких рамок риторических структур. Значение таких исследований выходит за рамки одной литературной эпохи, поскольку по мере своего превращения в «новую классику» поэзия пушкинской поры становилась главным посредником в усвоении «классической» тематики следующими литературными поколениями.

## V

Судя по замечательно разборчивому и аккуратному почерку, которым написан прозаический фрагмент текста ПД № 241, и практически полному отсутствию исправлений, Пушкин очень хорошо представлял себе структуру задуманной «похвалы сельской жизни». Тем сильнее соблазн задаться вопросом о том, почему же этот текст так и не был написан.

В начале XIX в. симбиоз философии счастья и риторической традиции *beatus ille* подвергся тяжелым испытаниям. Отвергнув рационалистический оптимизм предшествующей эпохи, романтики разделили или прямо противопоставили концепты счастья и покоя. Движущей силой романтического характера было не рациональное начало, а страсть, поэтому покой был отождествлен ими с душевным бездействием. Романтический герой знал или парадоксальный покой в бурях, или хладный покой разочарования. Столь высоко ценимое в XVIII в. спокойствие человека, умеющего *jouir de soi-même*, в романтической литературе стало атрибутом самодовольного филистера. Более умеренное крыло романтиков, не подвергая сомнению сам идеал спокойного счастья, признало его недостижимым или безвозвратно утраченным.

Новая эпоха наложила свой отпечаток и на традицию «похвалы сельской жизни». Хотя сама риторическая структура сохранила свою целостность, ее трактовка изменилась: в ней появилось сюжетное напряжение, порожденное противоречием между характером нового героя и идеалом сельского счастья. Наглядной иллюстрацией противоположного осмысления одной и той же сюжетной схемы служат два

текста, разделенные всего лишь двадцатью годами. Сюжеты письма «О сельском счастье» из «Писем из Москвы в Нижний Новгород» И. М. Муравьева-Апостола (1815) и романа А. Мюссе «Исповедь сына века» (1836) поначалу развиваются с удивительным параллелизмом: русский Филотим и француз Октав одинаково молоды, но сердца их растерзаны страстями: первого чуть не вгоняет в гроб честолюбие, второго — муки обманутой любви; в поисках душевного покоя они уезжают из города в отцовское поместье; уединенная жизнь на лоне природы успокаивает их чувства; оба героя находят в библиотеке покойного отца книги, которые способствуют их окончательному прозрению; оба встречаются в деревне чувствительную и любящую подругу. Однако здесь сюжеты бесповоротно расходятся: классический герой Муравьева-Апостола достигает спокойного счастья, романтический герой Мюссе разрушает свое<sup>80</sup>.

Отрицание «сельского идеала» могло развиваться не только в романтическом модусе. Основные аргументы в полемике урбаниста с деревенским жителем сложились тогда же, когда и сама традиция *beatus ille*; вспомним хотя бы послание Горация к своему старосте, где представлены обе точки зрения: «*rure ego viventem, tu dicis in urbe beatum. / Cui placet alterius, sua nimirum est odio sors*» (Epist. I, 14, 10–11)<sup>81</sup>. Противоречие между идеалом и действительностью было обозначено и во втором эпиде Горация: в последних строках читатель обнаруживал, что сладостным мечтам о сельском счастье предавался ростовщик Альфий, который на самом деле отнюдь не спешил оставить город и свой доходный промысел<sup>82</sup>. Наконец, на протяжении многих веков существовала традиция комического дезавуирования идеала *beatus ille* через описание с противоположным знаком: сельская природа оказывалась дикой или бесплодной, сельская жизнь — безрадостной и убогой, а деревенские жители — нищими или невеждами (ср. послание Авсония «К Феону. О сельской жизни» конца IV в.)<sup>83</sup>.

---

<sup>80</sup> Об утерянном сельском счастье как одном из лейтмотивов ранней романтической повести см.: Call M. J. *Back to the Garden*. Chateaubriand, Senancour and Constant // *Stanford French and Italian Studies*. 1986. Vol. 52.

<sup>81</sup> «Я говорю: счастлив тот, кто в деревне живет, ты же — в Риме: Жребий чужой кому мил, тому свой ненавистен, конечно» (пер. Н. С. Гинцбурга).

<sup>82</sup> Любопытно, что именно этот разрыв позволил Н. И. Надеждину увидеть в творчестве Горация «внутреннее уклонение к романтизму» (см. его статью: Опыт перевода «Горациевых Од» В. Орлова // МВ. 1830. Ч. 4. С. 254–294).

<sup>83</sup> Замечательное описание деревенских разговоров есть в пародийной «похвале сельской жизни» С. Н. Марина: «Известны также мне и тамошни кокетки; / Вступи с ней в разговор — вдруг выползут наседки, / Цыплята, яицы, телята и быки, / Как вяжут у нее с узором колпаки, / <...> Наскучишь ею

Различные приемы визуального отстранения сельского идеала заслуживают отдельного исследования; напомним, например, неожиданную развязку в «Réflexions sur le goût de la champagne» («Размышления о любви к сельской жизни») кардинала де Берни: деревенские восторги героя прерваны шумом экипажа — это Темира, которая приехала, чтобы увезти его в город; и, с облегчением прощаясь с деревней, герой дарит читателей афоризмом: «Я полагаю, что деревенская жизнь, если она длится более восьми дней, хороша только на картине»<sup>84</sup>. У самого Пушкина первые опыты традиционной («Мечтатель», 1815; «Сон», 1816; «Домовому», 1819)<sup>85</sup> и полемической трактовки топики *beatus ille* появляются одновременно — модель визуального отстранения была использована уже в стихотворении 1816 г.:

Блажен, кто в шуме городском  
Мечтает об уединеньи,  
Кто видит только в отдаленьи  
Пустыню, садик, сельский дом,  
Холмы с безмолвными лесами,

---

ты и к мужу подойдешь; / От волка побежав, к медведю попадешь. / <...> А там начнется речь о хлебе, о вине, / Что ригу новую он строит на гумне. / На сцену явятся собаки со псарями, / Расскажет клички их, потешит и шерстями, / И естели от него не можешь убежать, / То будет в горнице, разгорячась, порскать» («Письмо к Пот<апову>», 1800-е гг.). Стихи Марина почти не печатались, но широко ходили в списках; возможно, это стихотворение стало известно Пушкину. Ср.: «Господ соседственных селений / Ему не нравились пиры, / Бежал он их беседы шумной, / Их разговор благоразумный / О сенокосе, о вине, (*черновой вариант*: О хлебе, пашне, о вине — *Н. М.*) / О псарне, о своей родне, / Конечно не блистал ни чувством, / Ни поэтическим огнем, / Ни остротою, ни умом, / Ни общежития искусством; / Но разговор их милых жен / Гораздо меньше был умен» (Акад. Т. 6. С. 36, 273).

<sup>84</sup> *Bernis F.-J de P. Oeuvres*. Paris, 1797. P. 345.

<sup>85</sup> Ср. также «Уединение» («Блажен, кто в отдаленной сени...», 1819) — вольный перевод стихотворения А.-В. Арно «Le solitude» (1794), где Пушкин воссоставляет горацянскую формулу «*Beatus ille qui...*», размытую во французском оригинале. Эта же строка Горация неточно процитирована в ироническом контексте в письме А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 г.; Вергилий старик-садовод (Georg. IV, 116–148) упомянут в письме Пушкина к брату от 24 сентября 1820 г. (отмечено Б. Л. Модзалевским, см.: Письма. Т. 1. С. 213).

К традиции *beatus ille* принадлежит и стихотворение «Деревня», и его поздняя редакция, опубликованная в собрании 1826 г. под названием «Уединение»; последняя является одним из лучших образцов классической «похвалы сельской жизни» в русской поэзии. Нельзя не поддержать решение редакторов второго тома нового академического собрания Пушкина, опубликовавших эту редакцию как самостоятельный текст.

Долину с резвым ручейком  
И даже... стадо с пастухом!<sup>86</sup>  
(Акад. Т. 13. С. 2–3)

Пушкин инициировал романтический переворот в интерпретации идеала *beatus ille* в русской литературе середины 1820-х гг.: приезд Онегина в деревню стал первым вторжением нового героя в деревенский мир, и, хотя автор неоднократно подчеркивал «разность» в отношении к деревне между Евгением и повествователем, иронический оттенок в использовании сельской топики в первых главах романа был совершенно очевиден. Наряду с новым типом конфликта Пушкин использовал и классические приемы пародирования: так, рядом с Онегиным был выведен традиционный антигерой — старый буян и бретер Зарецкий, ныне обитатель «философической пустыни», который

Под сень черемух и акаций  
От бурь укрывшись, наконец,  
Живет, как истинный мудрец,  
Капусту садит, как Гораций,  
Разводит уток и гусей  
И учит азбуке детей.<sup>87</sup>  
(Акад. Т. 6. С. 120)

Иронической полемикой с традицией *beatus ille* отмечены также два пушкинских текста, написанных в Болдино осенью 1830 г., — «История села Горюхина» и незаконченное стихотворение «Румяный критик мой, насмешник толстопузый», где для разоблачения сельского идеала снова использован прием визуальной дистанции:

Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогой,  
За ними чернозем, равнины скат отлогой,  
Над ними серых туч густая полоса.  
Где нивы светлые? где темные леса?  
Где речка? На дворе у низкого забора  
Два бедных деревца стоят в отраду взора,  
Два только деревца. И то из них одно

---

<sup>86</sup> Ср. иронические размышления об уединении в обрамляющем этот набросок письме к П. А. Вяземскому от 27 марта 1816 г.: «Уверю вас, что уединенье в самом деле вещь очень глупая, назло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы жилали в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину». Весь пассаж был, как неоднократно указывалось, репликой к стихам Вяземского «Послание к <Жуковскому> в деревню» (1808).

<sup>87</sup> Пушкин заодно пародирует здесь и мотив «поэта-отшельника», используя строку из хрестоматийной «Беседки муз» Батюшкова (1817), которое заключало его «Опыты в стихах и прозе»: «Он некогда придет вздохнуть в сени густой / Своих черемух и акаций».

Дожливой осенью совсем обнажено,  
И листья на другом, размокнув и желтея,  
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.  
(Акад. Т. 3. С. 236)

Наконец, в 1835 г. Пушкин вновь обращается к традиции «похвалы сельской жизни» и пишет прозаический фрагмент в рукописи ПД № 241. Этим же годом предположительно датируется набросок «Если ехать вам случится...», где в традиционный сельский пейзаж:

От большой дороги справа,  
[Между полем и холмом],  
Вам представится дубрава,  
Слева сад и барской дом.  
Летом в час, как за холмами  
Утопает солнца шар,  
Дом [облит] его лучами,  
Окна блещут как пожар.  
[На балконе за оградой]  
[Деревенская семья]  
(Акад. Т. 3. С. 403, 1012–1015)

введен посторонний наблюдатель: едущий мимо путник смотрит на картину семейного счастья (в одном из черновых вариантов было: «Взор завистливый бросает / На семейство, на балкон»). На этом текст обрывается, но контуры внутреннего конфликта уже намечены: идеал деревенского счастья недоступен усталому путнику и одновременно тревожно незащищен перед досужими взглядами<sup>88</sup>.

Осенью того же года в Михайловском Пушкин пишет стихотворение «...Вновь я посетил...», где использует классический сюжет возвращения усталого странника к отеческим пенатам, очень популярный в русской поэзии 1810–1820-х гг. Здесь поэт ведет сложную игру с традиционной топикой, конкретизируя ее и насыщая автобиографическими чертами<sup>89</sup>;

---

<sup>88</sup> В стихотворении Сент-Бева «Bonheur champêtre», вошедшем в сборник «*Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme*» («Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма», 1829), мы найдем очень похожую диспозицию: поэт-прохожий наблюдает за семейным счастьем поселян, примеривает этот идеал на себя и отвергает — как недостижимый и ненужный одновременно.

<sup>89</sup> Постепенная индивидуализация классической топики хорошо заметна по черновикам: так, постепенно приобрел автобиографические черты «мирный / ветхий / опальный домик» (Акад. Т. 3. С. 997, 399), а мотив покоя в первых строках «...Вновь я посетил / Тот уголок земли, где я провел / В спокойствии невольном и отрадном» (Акад. Т. 3. С. 996) был заменен мотивом изгнания: «...я провел / Изгнанником два года незаметных» (Акад. Т. 3. С. 399).

при этом интертекстуальный диалог разворачивается одновременно на двух уровнях — переосмыслению подвергается не только классическая традиция, но и собственный вклад в нее молодого Пушкина: как мы знаем, Михайловское уже было описано в стихотворении «Деревня» (1819)<sup>90</sup>. Во «...Вновь я посетил...» Пушкин использует тот же прием, что и в «Деревне»: первая половина стихотворения развивает традиционную топику *beatus ille*, а во второй один из топосов разворачивается в отдельный сюжет, позволяющий показать всю картину с новой точки зрения. Нет нужды объяснять, в чем была новизна «Деревни», но для того, чтобы понять в чем заключалась необычность «...Вновь я посетил...», нужно еще раз вернуться к той традиции, от которой отталкивался Пушкин. Оппозиция города и деревни включала противопоставление двух типов времени — линейного и циклического. В городе время летит стремительно, и человек не является его хозяином; сельская жизнь, напротив, находится вне линейного времени, поскольку земледелец измеряет свою жизнь природными циклами и не замечает уходящих лет. Возвратившись к местам своего детства, традиционный герой «похвалы сельской жизни» сливался с сельским миром и освобождался от власти времени. Пушкинский герой не становится частью мира *beatus ille*: напротив, ситуация возвращения провоцирует отчужденный взгляд, фиксирующий изменения в знакомом пейзаже, но здесь и происходит смысловой сдвиг: следы времени указывают не только на неизбежность смерти, но и на непрерывность жизни.

Похоже, что в 1835 г. Пушкин уже не мог написать такого текста, в котором топики *beatus ille* была бы осмыслена как позитивная жизненная программа (не случайно годом позже, в последний раз вернувшись к этой традиции в стихотворении «Когда за городом, задумчив, я брожу...», он перенес противопоставление тесноты, тщеты и лжи города свободному и спокойному достоинству деревни за пределы человеческой жизни, встроив его в описание городского и сельского кладбища). Оптимистический пафос «похвалы сельской жизни», как и романтическая ирония в адрес этого идеала, остались для него в прошлом. Вернувшись в деревню, его герой не находил и не разрушал счастья, но обретал взамен покой и примирение с неизбежным.

Во «...Вновь я посетил...» есть еще одно «тайное» примирение. Здесь нашло свое разрешение то противоречие между строгим пессимизмом

---

<sup>90</sup> В черновиках игра была еще богаче: картина из «Деревни» — «Овины дымные и мельницы крилаты; / Везде следы довольства и труда» (Акад. Т. 2. С. 52), во «...Вновь я посетил...» сниженная в духе наброска «Румяный критик мой, насмешник толстопузый»: «Скривилась мельница, насилиу крылья / Ворочая при ветре» (Акад. Т. 3. С. 400), в черновом варианте включала автоотсылку к «Русалке»: «Скривилась мельница, дремля — / Как ворон раненый», «Скривилась мельница и крылья дремл<ят> / Как ворон раненый» (Акад. Т. 3. С. 1001).

стойка и наивным оптимизмом любителя сельской жизни, которое заставило нас предположить, что два фрагмента автографа ПД № 241 не могут быть объединены в один текст. Вспомним письмо Пушкина жене, написанное 25 сентября 1835 г. — накануне даты, проставленной в рукописи «...Вновь я посетил...»:

В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая, сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего; все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым, русским языком. Наприм<ер>, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменялась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарелся, да и подурнел. Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был (Акад. Т. 16. С. 50–51).

«Чистым русским языком» в этом письме заговорил автор «Писем к Луцилию» (Epist. XII):

Куда я ни оглянусь — всюду вижу свидетельства моей старости<sup>91</sup>. Приехал я в свою загородную и стал жаловаться, что дорого обходится ветхая постройка, а управляющий отвечает мне, что тут виною не его небрежность — он делает все, да усадьба стара. Усадьба эта выросла под моими руками; что же меня ждет, если до того искрошились камни — мои ровесники? (2) В сердцах я ухватился за первый попавшийся повод разбранить его: «А об этих платанах явно никто не заботился: на них и листвы нет, и сучья такие высохшие и узловатые, и стволы такие жалкие и облезлые! Не было бы этого, если бы кто-нибудь их окапывал и поливал!» Он же клянется моим гением, что все делает, ухаживает за ними, ничего не упуская, — но деревья-то старые! А платаны эти, между нами говоря, сажал я сам, я видел на них первый лист. (3) Поворачиваюсь к дверям. «А это кто, — спрашиваю, — такой дряхлый? Правильно сделали, что поместили его в сених: ведь он уже смотрит за двери. Откуда ты его взял? Какая тебе радость выносить чужого мертвеца?» А тот в ответ: «Ты что, не узнал меня? Ведь я Фелицион, это мне ты всегда дарил кукол на сатурналии; я сын управляющего Филосита, твой любимец». — «Ясное дело, — говорю я, — он бредит! Это он-то еще малышом стал моим любимцем? Впрочем, очень может быть: ведь

<sup>91</sup> «Quocumque me verti, argumenta senectutis meae video»; еще ближе к Пушкину французский перевод: «Tout, autour de moi, m'annonce que je vieillis» (Oeuvres de Sénèque. Vol. 3. P. 60–61).



у него как раз выпадают зубы». (4) Вот чем обязан я своей загородной: куда бы ни оглянулся — все показывало мне, как я стар.<sup>92</sup>

В пушкинских «Соснах» (именно так стихотворение «...Вновь я посетил...» было обозначено в списке стихотворений, предназначенных для издания, составленном в 1836 г.) отозвались и «дряхлые платаны» Сенеки, и часто используемый в традиции *beatus ille* мотив дерева, которое пережило посадившего его садовода и дарит тень его потомкам<sup>93</sup>. Соединив два подтекста, Пушкин смирил горькую иронию стоика, что «оглядываясь, видит лишь руины» (И. Бродский), верой в непрерывность природы и памяти. И какую бы трансформацию впоследствии ни переживал этот топос в русской литературе — от базаровского лопуха до ахматовской ивы, — он сохранял память о пушкинском тексте.

---

<sup>92</sup> Впервые Пушкин соединил этот пассаж из Сенеки с мотивом возвращения скитальца под отчий кров в «Истории села Горюхина», написанной осенью 1830 г. в Болдино: «8 лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильными цветниками, меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь обращен был в некошенный луг, на котором паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у переднего крыльца. Человек мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хотя ставни были открыты и дом казался обитаемым. Баба вышла из людской избы и спросила, кого мне надобно. Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу и вскоре дворян меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и незнакомые лица — и дружески со всеми ими цалуюсь: мои потешные мальчишки были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинам говорил я без церемонии: “Как ты постарела” — и мне отвечали с чувством: “Как вы-то, батюшка, подурнели”» (Акад. Т. 8. С. 128–129). Однако если в 1830 г. его интересовал только комический потенциал текста Сенеки, то пятью годами позже этот же источник был прочтен в совершенно другом ключе.

<sup>93</sup> Ср. у Клавдиана (XX, 52, 15–16): «...ingentem meminit pinguo qui germine quercum / aequaeumque uidet consenuisse nemus» («В детстве дубок посадил — нынче дубом любитесь статным, / Роща с ним вместе росла — старятся вместе они». — Пер. М. Грабарь-Пассек). Соединение этого мотива с идеей поэтического творчества есть в «Родине» Баратынского (1821, 1826): «В весенний ясный день я сам, друзья мои, / У берега насажу лесок уединенный, / И липу свежую и тополь осребренный; / В тени их отдохнет мой правнук молодой; / Там дружба некогда сокроет пепел мой / И вместо мрамора положит на гробницу / И мирный заступ мой и мирную цевницу».

Некоторые замечания о топике *beatus ille*

Традиция «похвалы сельской жизни» — это одна из самых устойчивых и плодотворных риторических структур со своей разветвленной системой топосов, описание генезиса и истории функционирования которых займет не один том. В рамках настоящей работы мы можем, следуя пушкинскому наброску, лишь обозначить главные смысловые валентности перечисленных в нем топосов, используя для иллюстрации в основном материал русской литературы конца XVIII — начала XIX в.

## 1. «О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню...»

Эта фраза построена в желательном модусе по образцу строки Горация: «O rus, quando ego te aspiciam?» (Sat. II, 6, 60)<sup>1</sup>. Еще одним распространенным модусом повествования в «похвале сельской жизни» был побудительный. Ср.: «Laissons, ô mon aimable amie, / L'habitant des cites, en proie à ses desires...» (A. de Bertin. «Éloge de la campagne. A Catilie», 1780); «Лициний! Поспешим далеко от забот!» (А. С. Пушкин. «К Лицинию», 1815); «Приди к нам в долины! Здесь сердце живет лишь с собой и Природой!» (П. И. Колошин. «Деревня», 1825).

Время деревенской жизни было циклическим; главным источником соответствующей топике стало стихотворение Клавдиана о старце из окрестностей Вероны: «Felix, qui patriis aeuum transegit in aruis, / ipsa domus ruetur quem uidet, ipsa senem, / qui baculo nitens in qua reptauit harena / unius numerat saecula langa casae. <...> frugibus alternis, non consule computat annum: / autumnum pomis, uer sibi flore notat. Idem condit agens soles idemque reducit, / mereturque suo rusticus orbe diem, / ingentem meminit paruо qui germine quercum / aequaeuumque uidet consenuisse nemus» (XX, 52, 1—4; 11—16)<sup>2</sup>. Ср.: «Ах! Счастливы стократ, свое коль счастье знают, / Трудятся, суетно свой ум не бремени, / Гуляньем летни дни иль пляской заключают / И песенки поют у зимнего огня. / Что нужды, что зима, — еще им лето длится, / И счастье годовых

<sup>1</sup> «Жилища сельские, когда я вас узрю...» (пер. М. Н. Муравьева).

<sup>2</sup> «Счастлив тот, кто свой век провел на поле родимом, — / Дом, где ребенком он жил, видит его стариком. / Там, где малюткою ползал, он нынче с посохом бродит; / Много ли хижине лет — счет он давно потерял. / <...> Он по природным дарам, не по консулам год свой считает, / Осень приносит плоды, дарит цветами весна. / В поле он солнце встречает, прощается с ним на закате; / В этом привычном кругу день он проводит за днем. / В детстве дубок посадил — нынче дубом любитесь статным, / Роща с ним вместе росла — старятся вместе они» (пер. М. Грабарь-Пассек).

не ведает времен. / Работы и забав единый круг катится, / Без скуки долги дни, здоровье без измен. / Такие дни текли вселенные в начале, / Когда не ведали обманов, ни вражды, / Никто не странствовал знакомой сени дале / И всяк возделывал отечески бразды» (М. Н. Муравьев. «Сельская жизнь. К А. М. Брянчанинову», 1770-е гг.). На примере отрывка из Муравьева можно убедиться в том, как легко комбинируются топосы разного генезиса — в данном случае, клавдиановский топос встроен в вергилианский контекст: строка «Ах! Счастливы стократ, свое коль счастье знают» это буквальный перевод «O fortunatos nimium, sua si bona norint...» (Georg. II, 458); к Вергилию восходит и описание добродетелей сельской жизни как последнего наследия Золотого века.

Переход из линейного городского времени в сельское очень хорошо передан у Муравьева-Апостола: «Удавалось ли мне, хотя на короткое время, вырваться из городских стен, и я чувствовал себя совсем другим человеком: мне казалось, что я дышал и мыслил свободнее. <...> а когда приходило время расставаться с полями и опять возвращаться туда, где все следы природы изглажены, то сердце мое сжималось от грусти, и я повторял за Горацием: O rus, quando ego te aspiciam? <...> — Наконец пламенное желание мое исполнилось: я счастлив, друг мой! я в деревне! <...> Забываю прошедшее, не забочусь о будущем; все бытие мое сосредоточено в наслаждении настоящим; и все, что ни окружает меня, веселит сердце мое и услаждает чувства»<sup>3</sup>.

## 2. «поля, сад»

Идеальный надел земли в традиции *beatus ille* обладал двумя устойчивыми характеристиками: прежде всего, он был небольшим: «*modus agri*» («скромное поле») (Ног. Sat. II, 6, 1), «*parva rura*» («маленькое поле») (Ног. Carm. II, 16, 37), «*parva seges satis est*» («довольно малого надела») (Tibull. I, 1, 43). В русской топике это качество было имплицировано в формуле «уголок земли» (ср.: М. Н. Муравьев. «Хотелось мне иметь землицы уголок...», 1789–1790), восходящем к «*teggatum angulus*» (Ног. Carm. II, 6, 13–14)<sup>4</sup>; значимым посредником в усвоении этого оборота могла послужить французская традиция (ср.: «*Qu'heureux est le mortel qui, du monde ignore, / Vit content de soi-meme dans un coin retire!*» — Voileau. Epitre VI).

Кроме того, идеальный надел часто описывался как наследственный: «*paterna rura*» (Ног. Erod. II, 3); ср. «Блажен, кто за предел наследственных полей...» (А. А. Дельвиг. «Тихая жизнь», <1816>); «Я воз-

<sup>3</sup> Муравьев-Апостол И. М. Письма из Москвы в Нижний Новгород. СПб., 2002. С. 99–100.

<sup>4</sup> См.: Набоков В. В. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина. М., 1999. С. 241.

вращуся к вам, поля моих отцов...» (Е. А. Баратынский. «Родина», 1821, 1826). Оба этих качества отрицали идею стяжания — ср. характерное название стихотворения Глинки, предвосхитившее знаменитую притчу Л. Н. Толстого: «Что нам для жизни? — Уголок! / Для хлеба — нивы лоскуток! / Для садика земли частичка...» (Ф. Н. Глинка. «Много ли надобно!», <1826>).

С мотивом наследственного поля были связаны два типа героя: первый из них — это счастливый домосед, никогда не покидавший родных пределов, — образ, восходящий к Клавдиану (см. примеч. 71 к статье). Ср.: «Блажен, кто мирно обитает / В заветном прадедов селе <...> // Не вдаль стремится он мечтою, / Не к морю мысль его летит, — / Доволен речкой небольшою, / Она светла, она шумит. // Не изменяясь в тихой доле, / Благословляя небеса, / Он все на то же смотрит поле, / На те же нивы и леса» (И. И. Козлов. «Сельская жизнь. Стансы», 1837). Еще один устойчивый тип героя — это скиталец, возвратившийся к отеческим Ларам и Пенатам. Главным прототипом такого героя был Одиссей, а если оставаться в пределах малых жанров, то в число источников следует включить стихотворение Катуллы, обращенное к Сирмионской вилле: «O quid solutis est beatius curis, / Cum mens onus reponit, ac peregrino / Labore fessi venimus larem ad nostrum / Desideratoque acquiescimus lecto. / Нос est, quod unumst pro laboribus tantis» (Catull. XXXI, 7–11)<sup>5</sup>.

Если герой похвалы сельской жизни обретал покой после жизненных испытаний, то в его образ мог включаться лукрецианский топос *suave in mare magno*: человек, пребывающий в безопасности, смотрит на кораблекрушение<sup>6</sup>. Ср.:

«While He, from all the stormy passions free, / That restless man involve, hears, and but hears, / At distance safe, the human tempest roar, / Wrapt close in conscious peace» (J. Thompson. «Autumn», 1730); «Comme un homme sauvé du naufrage sur un rocher, je contemple de ma solitude les orages qui frémissent dans le reste du monde; mon repos même redouble par le bruit lointain de la tempête» (B. de Saint-Pierre. «Paul et Virginie», 1788)<sup>7</sup>; «Как в пристани пловец, испытанный ненастьем, / С улыбкой

---

<sup>5</sup> «О, что отрадней, чем, забот свалив бремя, / С душою облегченною прийти снова / Усталому от странствий к своему Лару / И на давно желанном отдохнуть ложе. / Вот вся награда за труды мои» (пер. С. В. Шервинского). О теме отеческих Лар в русской поэзии начала XIX в. см.: Пильщиков И. А. «Я возвращуся к вам, поля моих отцов...»: Баратынский и Тибулл // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 1994. Т. 53, № 2. С. 36–37.

<sup>6</sup> Об этом топосе см.: Blumenberg H. Shipwreck with Spectator. Paradigm of a Metaphor for Existence. Cambridge (MA), 1996.

<sup>7</sup> Bernardin de Saint-Pierre J.-H. Paul et Virginie. Paris, 1984. P. 137.

слушает, над бездною воссев, / И бури грозный свист и волн  
мятежный рев; / Так, небо не моля о почестях и злате, / Спокойный  
домосед, в моей безвестной хате, <...> / Я буду издали смотреть на  
бури света» (Е. А. Баратынский. «Родина» («Я возвращаюсь к вам,  
поля моих отцов...»), 1826).

Теми же свойствами, что и поле, наделялось сельское жилище — оно было наследственным (топос «отеческий кров») и скромным. Его описание нередко включало в себя перечень тех предметов роскоши, которые не нужны в деревне (Verg. Georg. II, 463—466; Ног. Carm. II, 16, 7—12; III, 16, 33—36, и т. д.)<sup>8</sup>; им противопоставлялись скромные сельские сокровища («vivitur parvo bene cui paternum / splendet in mensa tenui salinum» — Ног. Carm. II, 16, 13—14)<sup>9</sup> и простая, но свежая и вкусная деревенская еда (Ног. Sat. II, 6, 63—64; Epod. II, 49—60). Ср.: «Но пора! Давно нас ждет хозяйка, / Здоровая с светлеющим лицом; / Дадут ботвиньи нам с душистым огурцом, / Иль холодец, лапшу, иль с желтым маслом кашу / (В деревне лишних нет потреб), / Иль белоснежную, с сметаной, простоквашу / И черный благовонный хлеб!» (Ф. Н. Глинка. «Сельская вечеря», <1831>). В описание сельской трапезы часто входил топос «некупленных брашен» (П. А. Плетнев. «Родина», 1823) — «dapes inemptas» (Ног. Epod. II, 48; Verg. Georg. IV, 133).

Мотив ухода от мира был имплицирован в некоторых устойчивых именовании сельского жилища — французское *retraite*, английское *retreat*; русское *убежище* было недостаточно благозвучным, и поэтому в начале XIX в. частой альтернативой ему служило слово *обитель*, которое, через ассоциации с монашеской обителью, включало в себя идею уединения («мирная/скромная/дальняя обитель» в «Пора, мой друг, пора!..», как и концепт покоя, могла послужить одним из толчков для создания прозаического плана)<sup>10</sup>. Ср.:

«С гадателем сказав, что значит сновиденье, / Внушил бы я любовь  
к деревне и полям. / Обитель мирная! в тебе успокоенье / И все

<sup>8</sup> О риторических перечнях диковин см.: Щеглов Ю. К. Антиох Кантемир и стихотворная сатира. СПб., 2004. С. 589—592.

<sup>9</sup> «Хорошо подчас и тому живется, / У кого блестит на столе солонка / Отчая одна» (пер. А. П. Семенова-Гян-Шанского).

<sup>10</sup> Более близким французским аналогом *обители* было слово *séjour*; ср. его употребление в «похвалах сельской жизни» Буало — «Ô fortuné séjour! Ô champs aimés des cieux!» (Épître VI) и Ж.-Б. Руссо — «...un séjour si tranquille» (Odes. III, 7); однако в этой лексеме семантика уединения отсутствовала. Можно было бы предположить, что на появление слова *обитель* в русской риторике *beatus ille* повлияла «La Chartreuse» Грессе («Чертоза» — название картезианских монастырей), но кажется все-таки, что, хотя поэма Грессе и обусловила проникновение топика *beatus ille* в дружеское послание 1810—1820-х гг., ее влияние на «похвалу сельской жизни» ограничилось этим жанром.

дары небес даются щедро нам» (К. Н. Батюшков. «Сон могольца», 1808); «Смирненных душ приют, безбедная обитель...» (В. Ф. Раевский. «К сельскому убежищу», 1810); «Обитель счастья, небес благословенье, / Где кроткие дары прелестных муз цветут, / Безвестность, мудрого покой и наслажденье, / Как сладко он с тобой проходит жизни путь!» (М. В. Милонов. «Счастливец. Подражание Леонару», 1809); «Смирненный тихий кров! / Спокойствия обитель!» (П. А. Межаков. «Мой удел», 1820); «Одна молитва к вам, благие небеса: / Пошлите мне в удел сенистые леса! / В пустынном уголке создав себе обитель, / И в хлад, и в дождь, и в зной дерев моих хранитель...» (П. А. Плетнев. «Садовник», 1826); «О гость приютинской обители смиренной!» (Н. И. Гнедич. «Приютино», 1820); «Едва твою благословил обитель, / И вновь я должен в руку посох взять!» (В. К. Кюльбекер. «Домосед», 1821).

Сельский ландшафт Горация отвечал первейшим нуждам деревенского жителя: поле, огород, источник воды поближе к дому, лес, дающий тень в жаркую погоду и дрова в холодную. В новой поэзии он слился с еще одной античной риторической традицией — описанием *locus amoenus*, или идеального пейзажа. Совместить две картины было тем более легко, что многие элементы в них совпадали: идеальным пейзажем в европейской традиции считалось красивое и тенистое место, где есть по крайней мере одно дерево или группа деревьев, лужайка, где журчит ручей или протекает река; кроме того, там часто благоухают цветы, поют птицы и веет легкий ветерок<sup>11</sup>. Включив в себя черты *locus amoenus*, деревенский пейзаж стал усладой для всех органов чувств; Пушкин

---

<sup>11</sup> Топика идеального пейзажа была впервые описана в пионерской работе Э. Р. Курциуса «Европейская литература и латинское средневековье» (1-е изд: *Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter*. Bern, 1948), к которой восходит современное представление о топосе как одном из основных структурирующих элементов литературной традиции. В. В. Набоков в комментариях к «Евгению Онегину» отмечал расхожий характер пары «тенистый лес — журчащий ручей», которая, по его мнению, «восходит не столько к элегическому пейзажу Вергилия или к Горацию с его сабинским владением, сколько к Аркадии рококо более поздних средиземноморских поэтов, — тому виду идеализированных окрестностей, лишенных колючек и шипов, который искушал странствующего рыцаря освободиться от своих доспехов» (*Набоков В. В. Комментарий к «Евгению Онегину» Александра Пушкина*. С. 216). Кажется, справедливее было бы считать аркадский пейзаж одним из этапов на долгом пути развития *locus amoenus*. О трансформации топики идеального пейзажа в элегическом жанре см.: Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994. С. 126–137. О топике идеального пейзажа в живописи см.: *Rosand D. Pastoral Topoi: On the Construction of Meaning in Landscape // The Pastoral Landscape./ National Gallery of Art, Washington. Studies in the History of Art*. Hanover; London, 1992. Vol. 36. P. 161–177 (сообщено К. В. Долининой).

сполна отдал дань этой традиции в «Деревне» (1819) и пародировал ее в наброске «Румяный критик мой, насмешник толстопузый» (1830).

Топос «источник воды» мог переходить из реального плана в метафорический, вбирая в себя восходящий к Зенону образ «мирного потока жизни»<sup>12</sup>. Ср.:

«С спокойствием смотрю на дней моих теченье, / Я в настоящем лишь утехи нахожу, / На будущее же без трепета гляжу / И, зря прошедшее, не прихожу в смущенье» (И. И. Пнин. «Уединение», 1805); «Почто и мне угла судьба ты не дала? / Как тихая река моя бы жизнь текла» (Е. И. Станевич. «Мои желания», 1805); «Под тению густых дерев / В спокойной, мирной сей пустыне, / Как тихий, кроткий ток ручьев, / Мои дни протекают ныне» (В. И. Красовский. «Благополучие в уединении», 1802); «А вы, благотворные сени, <...> / Примите меня, влейте в душу / Спокойствия мирную сладость! Да бурный поток моей жизни, / Скалами изверженный, тихо под вашим навесом польется...» (П. И. Колошин. «Деревня», 1825); «Приветствую тебя, пустынный уголок, / Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, / Где льется дней моих невидимый поток / На лоне счастья и забвенья» (А. С. Пушкин. «Деревня», 1819); «Ты вспомнишь о своих полях / Под вечер жизни: благодарный / Придешь к ним; мигом сбросишь в прах / Ярмо сует, страстей коварных / Повесишь заслуженный меч / На ветви прадедовской ивы, — / И дни твои, вполне счастливы, / Как тихий Волхов будут течь» (В. Н. Григорьев. «Послание к Н. Ф—у», 1827); «Я возмужал среди печальных бурь, / И дней моих поток, так долго мутный, / Теперь утих дремотою минутной / И отразил небесную лазурь» (А. С. Пушкин. «Я возмужал среди печальных бурь...», 1834)<sup>13</sup>.

Этот топос и его источник обыграны в автобиографическом эссе И. Бродского «Меньше единицы» (1976): «А серое зеркало реки, иногда

---

<sup>12</sup> Фрагменты ранних стоиков. Т. 1: Зенон и его ученики / Пер. и коммент. А. А. Столярова. М., 1998. С. 79; см. также: *Марк Аврелий Антонин*. Размышления. СПб., 1993. С. 183.

<sup>13</sup> В. В. Мерлин обнаружил сходный образ в элегии Ламартина «Le vallon» («Долина», 1821): «La source de mes jours comme eux c'est écoulée, / Elle a passé sans bruit, sans nom et sans retour; / Mais leur onde est limpide, et mon âme troublée / N'aura pas réfléchi les clartés d'un beaux jour» («Исток моих дней вытек, как эти воды: / Бесшумно, безымянно и безвозвратно; / Но их волна светла, а моя пасмурная душа / Не отразит ясности погожего дня». — Пер. В. В. Мерлина). Признав, что этот образ не уникален и отнеся его к числу «распространенных романтических метафор», исследователь все же решил, что именно Ламартин послужил источником для Пушкина, поскольку только у этих поэтов данный образ представляет собой «единое развернутое сравнение» (*Мерлин В. В.* Об одном из источников стихотворения “Я возмужал среди печальных бурь...” // *Врем. ПК. Л.*, 1986. Вып. 20. С. 174–177).

с буксиром, пыхтящим против течения, рассказало мне о бесконечности и стоицизме больше, чем математика и Зенон»<sup>14</sup>.

Небольшой лес — «*silva iugerum paucorum*» («несколько югеров леса») (Нор. Сарм. III, 16, 29—30), «*paulum silvae*» («маленький лес») (Нор. Sat. II, 6, 3) — в русской традиции *beatus ille* часто именуется рошей<sup>15</sup>. В 1810—1820-е гг. у этого топоса появляется устойчивая реализация, источника которой нам пока не удалось установить: соединяясь с мотивом возвращения странника под отчий кров, он превращается в топос «возвращения под сень родных лесов/дубрав». Ср.:

«Кому ж не мил тот край, тот уголок уютный, / Где мы младенчества дни райски провели <...> / Места, свидетели моих забав игривых! / Я возвратился к вам, вас, милые пою! / Напомните вы мне о днях, тех днях счастливых! / Дубравы родины! Раскиньте сень свою! <...> / Места прелестные! Места мои родные! / Не изменились вы, вы те ж, но я не тот...» (Н. Д. Иванчин-Писарев. «Возвращение в деревню», 1813); «Дубравы, где в тиши свободы / Встречал я счастьем каждый день, / Ступаю вновь под ваши своды, / Под вашу дружескую тень. / И для меня воскресла радость, / И душу взволновали вновь / Моя потерянная младость, / Тоски мучительная сладость / И сердца первая любовь...» (А. С. Пушкин. «Дубравы, где в тиши свободы...», 1818); «Примите вновь меня, развесистые тени, / И ты, знакомый кров, склонившийся к водам! / Отведав чаши наслаждений, / Я горечь ощутил и возвращаюсь к вам» (М. А. Дмитриев. «Деревня», <1829>); «Но мне увидеть было слаще / Лес на покате двух холмов / И скромный дом в садовой чаще — / Приют младенческих годов. / Промчалось ты, златое время! / С тех пор по свету я бродил / И наблюдал людское племя, / И, наблюдая, восскорбил. <...> / Я твой, родимая дуброва!» (Е. А. Баратынский. «Судьбой наложенные цепи...», 1828).

Лес в античных источниках обычно упоминался в одном ряду с лугом, виноградником, пашней и огородом, как источник жизненно необходимых благ<sup>16</sup>. Когда в XVIII в. развился культ естественной природы, этот топос усложнился: у леса появилась пара — парк; вместе

<sup>14</sup> *Бродский И. А.* Меньше единицы: Избр. эссе. М., 1999. С. 9 (пер. В. Гольшева).

<sup>15</sup> О мотиве роши в русской поэзии см.: *Топоров В. Н.* Из истории русской литературы. Т. 2: Русская литература второй половины XVIII в.: Исследования, материалы, публикации. М. Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Кн. 2. М., 2003. С. 460—477.

<sup>16</sup> Ср. точные размеры соответствующих угодий в «Усадьбе» Авсония: «Двести югеров пашни, сто югеров — под виноградом, / И вполовину того — луг, чтоб скотину пасти; / Лес — обширней в два раза, чем луг, виноградник и пашня» (пер. М. Л. Гаспарова).



они обозначали два типа природной гармонии — лес был наполнен первозданной гармонией дикой природы, свободной от вмешательства человека, парк был воплощением союза между природой и искусством. Чувства, внушаемые человеку величественной красотой лесов, относились к категории «возвышенного», а чувства, внушаемые садами и парками, — к категории «прекрасного».

Сочетать в себе прекрасное и необходимое мог сад/огород («hortus» — Ног. Sat. II, 6, 2), где рядом с плодами росли цветы (Georg. IV, 131, 134, 136). Ср.:

«Я б в сладкой праздности остаток дней провел / И в мрачной участи утечи бы нашел. / Какая нужда мне, что свет о мне б не мыслил! / Я б радости одне в моем жилище числил, / Растил бы садик свой, плоды сулящий мне, / И жил действительно б по сердцу в тишине. / <...> Поставил бы себя их выше суеты, / И домика вокруг рассыпал бы цветы» (Е. И. Станевич. «Мои желания», 1805); «Не почестей обман, не зависти печали / Под старость мудреца к предместью приковали, / Где с наслаждением и славу и мечты / Сменил он на свои деревья и цветы: / Презрев ничтожество заботливости праздной, / Он пользу полюбил и труд однообразный» (П. А. Плетнев. «Садовник», 1826); «По-прежнему бы там, веселый домовод, / Я в осень ждал с посеву урожая, / Иль, с заступом в руках, копал свой огород, / Малину в нем, смородину сажая» (П. А. Плетнев. «К моей родине. Элегия», 1820); «Люби мой малый сад и берег сонных вод, / И сей укромный огород / С калиткой ветхою, с обрушенным забором! / Люби зеленый скат холмов, / Луга измятые моей бродящей ленью, / Прохладу лип и кленов шумный кров — / Они знакомы вдохновенью» (А. С. Пушкин. «Домовому», 1819).

Противопоставление бесполезной красоте парков щедрого сельского огорода мы найдем уже у Марциала (III, 58). Этот же конфликт отразился в «похвале сельской жизни» XVIII в.: искусству садов и парков Руссо предпочел «белый домик с зелеными ставнями», окруженный вместо цветников огородом, а вместо парка — фруктовым садом («Эмиль», кн. IV, ч. 1)<sup>17</sup>; Карамзин был еще решительнее: «Вижу сад, аллеи, цветники, иду мимо их: осиновая роща для меня привлекательнее. В деревне всякое искусство противно. Луга, лес, река, буерак, холм лучше французских и английских садов» («Деревня», 1792)<sup>18</sup>. Можно

<sup>17</sup> О влиянии руссоизма на традицию *beatus ille* см.: Розанов М. Н. Жан-Жак Руссо и литературное движение конца XVIII и начала XIX в.: Очерки по истории руссоизма на Западе и в России. М., 1910.

<sup>18</sup> Карамзин Н. М. Записки старого московского жителя: Избр. проза. М., 1986. С. 228.

было попытаться примирить эти точки зрения, как это сделал Д. В. Давыдов: «Во вкусе английском, простом, / Я рощу насажу, она окружит дом, / Пустыню оживит, даст пищу размышленью; / Вдоль рощи побежит струистый ручеек; / Там ивы гибкие беседкою сплетутся, / <...> И даже огород приманят нас порою / Своей роскошною и скромной простотою. / Мы будем счастливы природой и собой» («Договоры», 1807)<sup>19</sup>.

В пушкинскую эпоху выбор между лесом, парком, садом и огородом сразу показывал понимающему читателю степень прагматичности героя — очень характерны предпочтения пушкинской Татьяны: «Сейчас отдать я рада / Всю эту ветошь маскарада, / Весь этот блеск, и шум, и чад / За полку книг, за дикой сад, / За наше бедное жилище...» (Акад. Т. 6. С. 188).

### 3. «крестьяне»

Удел земледельца для Вергилия и Горация имел особую социальную ценность: современники гражданских войн и упадка римской республики возлагали особые надежды на то, что «занятия земледелием поднимут павшую нравственность и возродят гражданские доблести древних пахарей и воинов, живущих трудами рук своих»<sup>20</sup>. В новое время главным адресатом похвалы сельской жизни стал не свободный землепашец, «плугом отчески поля орющий» (В. К. Третьяковский. «Строфы похвальные поселянскому житию», 1752), а представитель иных, значительно более состоятельных и просвещенных сословий. Так, к античной традиции изображения сельского жителя как образца простых добродетелей присоединился новый мотив: крестьяне превратились в объект благодеяний просвещенного героя. Ср.:

«Друзья, товарищи моих трудов смиренных / Кто будут? Жители села, с простым умом, / Ум стоит остроты: в невежестве своем / Они почтеннее людей высокомерных. <...> Идем, задумавшись, с растроганной душой, / Спокойны, счастливы. Деревню переходим, / Но мимо хижины убогой не проходим; / Там скорбь безмолвную ты в рубище найдешь, / <...> Ты всем несчастным друг, ты помощь им даешь, / И жаркая слеза из глаз твоих катится» (Д. В. Давыдов.

---

<sup>19</sup> Тема, требующая отдельного обсуждения, — соотношение топики *beatus ille* с устройством паркового и — шире — усадебного пространства. Немало полезных материалов к этой теме в связи с историей русской усадебной культуры можно найти в недавней книге: Дмитриева Е. Е., Купцова О. Н. Жизнь усадебного мифа: Утраченный и обретенный рай. М., 2003, а также в серийных сборниках «Русская провинция», «Русская усадьба», «Хозяева и гости усадьбы Вяземы», «А. С. Пушкин в Подмосковье и Москве».

<sup>20</sup> Гаспаров М. Л. Избр. труды. М., 1997. Т. 1. С. 122.

«Договоры», 1807); «Занятия ленивым, / Покой трудолюбивым, / Большим целебный сок, / Одежду погорелым, / Подпору престарелым, / Приют осиротелым, / Проходим уголок» (П. А. Межаков, «Мой удел», 1820).

Вспомним в этой связи и пушкинскую «Деревню»: ее первая часть представляет собой чистый образец *beatus ille*, а вторая подробно развивает крестьянский топос.

В философии счастья XVIII в. благотворительность и вообще сочувствие к ближнему служили своего рода моционом для счастливой души, не позволявшим ей впасть в мертвящее бездействие. Эту же роль для ума играли чтение и размышление.

#### 4. «книги»

Гораций включил чтение в число основных радостей сельской жизни: «...nunc veterum libris, nunc somno et inertibus horis» (Sat. II, 6, 61) — «иль чтением, иль сном и праздными часами, / Заботы бытия в забвенье погрузить» (М. Н. Муравьев. «Все купно суеты играют мной во граде...», <1789>). Ср.:

«Ici, dans un vallon bornant tous mes desires, / J'achète à peu de frais de solides plaisirs. / Tantôt, un livre en main, errant dans les prairies, / J'occupe ma raison d'utiles reveries...» (Boileau. Épitre VI, 1677); «Sound sleep by night; study and ease / Together mix'd; sweet recreation, / And innocence, which most does please, / With meditation». (A. Pope. «Ode on Solitude», 1717); «Се! суть плоды минут спокойству посвященных, / В беседе с мудрыми к отраде проведенных; / На лоне тишины, среди густых лесов» (Е. И. Станевич. «Мои желанья», 1805); «Отныне средь наследственных полей / Ты станешь жить средь кровных и друзей, — / И призовешь в свое уединенье / Высокий труд, отрадное ученье» (В. К. Кюхельбекер. «К\*\*\*», 1829–1830).

В этот топос<sup>21</sup> мог входить список книг, зачастую носивший автоописательный характер: в нем преобладали авторы, воспевавшие сельскую жизнь. Ср.:

«Великие певцы Природы / Займут прогулки вашей час: / Томсон, Делиль, и Клейст, и Геснер несравненный / Беседой усладят ваш путь уединенный, / И душу приведут поэзии в восторг...» (З. А. Буринский. «К К. Е. Д. Щ. Приглашение в деревню», 1807); «В сельском садовом домике должна быть и библиотека: Вергилиевы “Георгики”,

<sup>21</sup> О топосе книжных занятий см.: Щеглов Ю. К. Антиох Кантемир и стихотворная сатира. С. 318–321.

<sup>22</sup> Глинка Ф. Н. Письма к другу. М., 1990. С. 136.

Делиевы “Сады”, Томсоновы “Времена года” и Блумфильдова поэма “Сельский работник”» (Ф. Н. Глинка. «Письма русского офицера», 1815)<sup>22</sup>.

Если у Горация чтение стояло в одном ряду со сном и досугом (ср. ироническое обыгрывание этого топоса Пушкиным: «Я каждым утром пробужден / Для сладкой неги и свободы: / Читаю мало, долго сплю...» — Акад. Т. 6. С. 28), то к Вергилию восходила другая реализация, связанная с познанием природы. Похвала сельской жизни в «Георгиках» включала отдельный пассаж (II, 475–492) о счастье человека, сумевшего «*reput cognoscere causas*» — «исследовать всех вещей действия и причины» (пер. А. Кантемира)<sup>23</sup>; только его Вергилий был согласен поставить рядом со счастьем земледельца. В XVIII — начале XIX в. вергилианский топос наполнился новым смыслом благодаря увлечению натурфилософией, растянувшегося на век с лишним — от Ньютона до Шеллинга. Наряду с общим интересом к тайнам Природы нужно отметить особый интерес к астрономии, ставший характерной чертой постньютоновской эпохи; истоки этого топоса также восходили к Вергилию, молившему муз открыть ему пути небесных созвездий, фазы луны и затмения солнца (Georg. II, 477–478)<sup>24</sup>. Очень характерен для своей эпохи список книг, приведенный в «похвале сельской жизни» Ж.-Ж. Руссо: в него входят два античных философа (Сократ и Платон), два новых философа-моралиста (Монтень и Лабрюйер), два астронома (Ф. Лагир и Ж.-Д. Кас-

---

<sup>23</sup> Строка «*Felix, qui potuit rerum cognoscere causas*» (Verg. Georg. II, 490) в XVIII в. стала крылатой; ср.: «Ye fields and woods, my refuge from the toilsome world of business, receive me in your quiet sanctuaries, and favor my retreat and thoughtful solitude <...> whilst with its blessed tranquility it affords a happy leisure and retreat for man, who, made for contemplation <...> may here best *meditate the cause of things*, and, placed amidst the various scenes of Nature, may nearer view her works» («О поля и леса, мое убежище от тягостных мирских забот, примите меня в свои мирные святилища, будьте благосклонны к моему уединению и задумчивому одиночеству; <...> своим благословенным спокойствием оно дарует счастливый досуг и приют созданному для размышлений человеку, который здесь лучше всего способен *достигать причины всех вещей* и, помещенный посреди различных сцен Природы, может воочию созерцать ее труды») (*Shaftesbury. «The Moralists», 1709*). Эта фраза часто использовалась в качестве девиза или декоративной надписи; так, например, она украшала фронтон Храма философии в Эрменонвиле — парке, превратившемся к концу XVIII в. в мемориал Руссо.

<sup>24</sup> Отзвук этого топоса слышен в «Письмах римскому другу. Из Марциала» И. Бродского: «Постелю тебе в саду под чистым небом / И скажу, как называются созвездья». Может быть, и само имя Марциала в заглавии этого стихотворения отсылает к нескольким «сельским» эпиграммам этого автора, положившим начало той традиции, поздние рефлексy которой есть и в стихотворении Бродского.

сини) и книга Фонтенеля «Беседы о множественности миров» («Сад в Шарметтах», 1739).

Топос «познание природы» часто включал в себя религиозные мотивы: поскольку конечным ответом на вопрос о причине всех вещей был Бог, созерцание Природы означало созерцание Божества и постижение высшего замысла. Ср.:

«Пустыня не предел для мысли окрыленной: / Здесь я, невидимый, все вижу над землей; / Воздушной жизни всей участник сокровенный, / Делюся бытием, живу не сам собой. / Душой сливаюсь с лазурью бесконечной, / С золотыми звездами, поэзией небес! / С тобой беседую, художник мира вечный! / И с книгой дивною божественных чудес!» (Н. И. Гнедич. «Приютино», 1819); «Здесь, чуждый людей и притворства, безмолвным величьем Природы / Спокою встревожено сердце, и мысль, как дыханье, свободно / От брэнной обители праха, к небесным холмам понесется» (П. И. Колошин. «Деревня», 1825); «Здесь, здесь, в сей тишине, спокойный друг Природы, / Навыкни познавать в предвечных чертежах / Зависимости связь с величием Свободы...» (М. А. Дмитриев. «Деревня», <1829>).

##### 5. «труды поэтические»

Тема поэта, избегающего толпы и творящего в уединении, обладала своей собственной обширной и устойчивой топикой. Скрещение двух традиций произошло уже в античности: скромное поле и поэтический дар соседствовали в оде Горация на покой: «Mihi parva rura et / spiritum Graiae tenuem Camenae / Parca non mendax dedit et malignum / Spernere volgus» (Сарм. II, 16, 37–40)<sup>25</sup>; ср. также приписывавшуюся Марциалу эпиграмму «О сельской жизни» (II, 90). Впоследствии на этот топос оказало свое влияние представление о природе как величайшем творении и, следовательно, величайшем источнике вдохновения для художника (подробную декларацию этого тезиса см. в предисловии Дж. Томсона ко второму изданию «Зимы», 1726). Ср.:

«Déjà moins plein de feu, pour animer ma voix, / J'ai besoin du silence et de l'ombre des bois: / Ma muse, qui se plaît dans leurs routes perdues, / Ne saurait plus marcher sur le pavé des rues...» (Boileau. Épitre VI, 1677); «Happy the Man who to the Shades retires, / But doubly happy, if the Muse inspires! / Blest whom the Sweets of home-felt Quiet please, / But far more blest who study joins with Ease!» (A. Pope. «Windsor Forest», 1712); «<Le poete> retrouve aux champs les dons qu'il a perdus; / Tout l'inspire et l'emeut dans toute la nature. / L'Aquilon qui rugit, le ruisseau qui murmure, /

<sup>25</sup> «У меня — полей небольшой достаток, / Но зато даны мне нелживой Паркой / Эллинских Камен нежный дар и к злобной / Черни презрение» (пер. А. П. Семенова-Тян-Шанского).

La chanson du matin et la cloche du soir, / Et l'ombrage où le patre à midi vient s'asseoir...» (С.-Н. Millevoye. «Les plaisirs du Poète ou Le pouvoir de la Poésie», 1801); «Ô Muses, accourez; solitaires divines, / Amantes des ruisseaux, des grottes, des collines! / <...> Venez. J'ai fui la ville aux Muses si contraire, / Et l'écho fatigué des clameurs du vulgaire. / Sur les pavés poudreux d'un bruyant carrefour / Les poétiques fleurs n'ont jamais vu le jour. / Le tumulte et les cris font fuir avec la lyre / L'oisive rêverie au suave délire; / Et les rapides chars et leurs cercles d'airain / Effarouchent les vers, qui se taisent soudain» (А. Шэниер. Элегия XIV, <1819>); «Во храмине его, любви посвященной, / Нет честолюбия, коварства злого нет, / И нежный в ней певец, природой восхищенный, / На лире счастье и радости поет» (В. Л. Пушкин. «Сельский житель», 1804); «Под сень твою певец душой летит, / О сельское уединенье! / Твой сладкий мир в нем дух животворит / И пробуждает песнопенье. // Позволь и мне возлечь под твой приют / И оживить свой дар убогий. / Там суеты меня не развлекут, / Там стихнут ложных чувств тревоги» (В. Н. Григорьев. «К уединению», 1823); «Я понесу в поля глубокие мечтанья, — / И лиру оживит их творческий порыв» (Д. П. Глебов. «К музам», <1827>); «Вы любите покой, о девы Мнемозины! / И я, питомец ваш, бегущий от трудов, / Люблю страны моей спокойные долины, / Где, углублен в горах, стоял наш низкий кров, / Полуразрушенный и мною полузабвенный!» (М. А. Дмитриев. «Спокойствие», 1829); «Беги же ты в свои родимые долины, / На свежие луга поемных берегов, / Под тень густых ветвей, где трели соловьины / И лепетание ручьев. // Свобода и покой хранители поэта, / Дадут твоей душе и бодрость и простор, / И вдохновением, как было в прежни лета / Светло заискрится твой взор» (Н. М. Языков. «Е. А. Боратынскому», 1836)<sup>26</sup>.

б. «семья, любовь, etc.»

Мир *beatus ille*, исключавший сильные страсти, допускал исключительно супружескую любовь: «...*rudica mulier* <...> *iuvet / domum atque dulcis liberos*» («скромная жена пусть заботится о доме и о милых детях») (Нор. *Epod.* II, 39—40), «*Interea dulces pendunt circum oscula nati, / casta pudicitiam servat domus...*» («Милые льнут между тем к отцовским объятиям дети, / Дом целомудренно чист») (Verg. *Georg.* II, 523—524). «Посреди радостей сельской жизни кто не забудет страданий, причиняемых любовью», — писал Гораций («*quis non malarum quas amor curas habet / haec inter obliviscitur?*» — *Epod.* II, 37—38). Сентиментальный код XVII—XVIII вв., акцентировавший в любви составляющую душевной близости, дал еще одну модификацию этого топоса: в супруге искали

<sup>26</sup> О топосе «певец, рожденный для полей» см.: Набоков В. В. Комментарий к «Евгению Онегину» Александра Пушкина. С. 224.

прежде всего подругу. А. Т. Болотов, один из тех русских людей конца XVIII в., кто воспринял традицию *beautus ille* в качестве жизненной программы, писал: «...сколь ни была она <деревенская жизнь> приятна и как я ею ни был доволен, но со всем тем чувствовал я всегда, что мне при всех моих заботах и увеселениях чего-то недоставало и что самым сей недостаток делал все их как-то несовершенными. <...> ...важный недостаток сей происходил от совершенного моего одиночества и состоял единственно в неимении при себе другого и такого мыслящего существа, которому мог бы я сообщать все свои мысли и с которым бы мог разделять все свои чувствования. Словом, мне нужен был товарищ такой, который бы имел согласные со мною мысли и такие же чувствования, как я. <...> И как недостаток становился мне час от часу ощутительнее, и я награждать оный надеяться мог только чрез женитьбу, <...> само сие обстоятельство и побуждало меня чем далее, тем чаще и более помышлять о моей женитьбе и о приискании себе в жены такого товарища, какового, собственно, мне недоставало и какового желало мое сердце»<sup>27</sup>. Ср.:

«Near some obliging modest fair to live: / For there's that sweetness in a female mind, / Which in a man's we cannot hope to find; <...> To this fair creature I'd sometimes retire; / Her conversation would new joys inspire; <...> But so divine, so noble a repast / I'd seldom, and with moderation, taste...» (J. Pomfret. «The Choice», 1700); «Avoir amis, enfants, épouse belle et sage...» (A. Chénier. *Élégie XIV*, <1819>); «Когда б симпатией сердечной / Подруга мила нам нашлась, / Которая б любовью нежной / Питала, утешала нас, / Служа подпорою в напасти...» (А. Х. Востоков. «Зима. Ода к другу, в 1799 году», 1799); «От суетного круга, / Что прозван свет большою, / О милая подруга! / Укроюсь со мной. / Простись с блестящим светом, / Приди с своим поэтом, / Приди под кров родной, / Счастливый и простой, / Где счастье неизменно / И дружбой крыл лишенно / Нас угостит с тобой!» (П. А. Вяземский. «К подруге», 1815); «Подругой, милыми птенцами окружен...» (Д. П. Глебов. «К Музам», <1827>); «Ma femme est jeune et belle, et son amour m'élève / Des fils qui me sont chers...» (С.-А. Sainte-Beuve. «Bonheur Champêtre», 1829).

### 9. «религия, смерть»

Устроив свою жизнь в соответствии с этими правилами, герой традиции *beautus ille* обретал главную награду — душевный покой и избавление от страха смерти. Здесь происходило завершающее слияние античной и христианской традиций: представление о смерти как конеч-

---

<sup>27</sup> Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. М., 1993. Т. 2. С. 246–247.

ной форме покоя совмещалось с идеей успокоения в Господе, сельское счастье оказывалось прелюдией к обретению вечного блаженства. Ср.:

«Here may I live, and learn to die / To all that fades as fast as I; / Live here, remote from care and strife, / A student of superior life» (J. Reynolds. «A View of Death», 1709); «Спокойно целый век проводит он в трудах, / Полета быстрого часов не примечая, / И смерть к нему придет с улыбкой на устах, / Как лучших, новых дней пророчица благая» (А. А. Дельвиг. «Тихая жизнь», <1816>); «С священной думой о тлени / Блуждает вечерней порой / В безмолвном усопших селени, / С настроенной к смерти душой... / Зрит мрамор с святым поученьем: / “Смерть с духом веселья встречать”. / Зрит пальму с святым утешеньем, / Бессмертья и веры печать! / <...> Того серафим в колыбели / Небес благодатью повил, / Кто с голосом сельской свирели / Младенческий клик согласил» (А. И. Мещевский. «Селянин», 1815–1818).

\* \* \*

Остается сделать одну очень важную оговорку. Наша реконструкция «смыслового поля» пушкинского плана дает очень приблизительное представление о том, какова могла быть его поэтическая реализация. Использование топосов в поэзии и в красноречии основывалось на двойной презумпции: оно предполагало знание традиции, с одной стороны, и умение нетрадиционно ее использовать — с другой. Первое условие гарантировало непрерывность культурной памяти, второе предохраняло тексты от превращения в набор в буквальном смысле «общих мест». Пушкинское поэтическое поколение довело до совершенства искусство делать классические формулы оригинальными, добиваясь эффекта неожиданности подчас за счет одного-единственного смыслового сдвига, как это происходит, например, в одном из поздних (1864 г.) стихотворений П. А. Вяземского:

Мне нужны воздух вольный и широкий,  
Здесь роши тень, там небосклон далекий,  
Раскинувший лазурную парчу,  
Луга и жатва, холм, овраг глубокий  
С тропинкою к студеному ключу,  
И тишина, и сладость неги праздной,  
И день за днем, всегда однообразный:  
Я жить устал, — я прозябать хочу.



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ПУШКИН  
И ЕГО СОВРЕМЕННОКИ

Сборник научных трудов

Выпуск 4 (43)



Издательство СПбИИ РАН  
«Нестор-История»



Гуманитарное агентство  
«Академический проект»

2005